ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ

ПО НЕИЗДАННЫМ ДОКУМЕНТАМ
СОСТАВИЛ

АЛЕКСАНДР БЛОК



» АЛКОНОСТ «
ПЕТЕРБУРГ
1921

2-6-70-68. В. т. [illegible]



Настоящее издание отпечатано в Девятой Государственной типографии в количестве 5000 экз.
«Р. В. Ц.»

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ

ПО НЕИЗДАННЫМ ДОКУМЕНТАМ
СОСТАВИЛ
АЛЕКСАНДР БЛОК.

АЛКОНОСТ
Петербург 1921.

6

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ.

Вся деловая часть предлагаемой книжки основана на подлинных документах, в большинстве своем до сих пор не опубликованных и собранных учрежденной Временным Правительством Чрезвычайной Комиссией для расследования противозаконных по должности действий бывших министров. Книжка в несколько сокращенном виде (читатель найдет здесь семь новых документов) была напечатана в журнале „Былое“ № 15 (помечена 1919 годом, вышла в 1921 году) под заглавием „Последние дни старого режима“.

А. Б.

Июль 1921.

СОСТОЯНИЕ ВЛАСТИ.

I.

Болезнь государственного тела России.—Царь, императрица, Вырубова, Распутин.—Великие князья.—Двор.—Кружки: Бадмаев, Андронников и Манасевич-Мануйлов. — Правые. — Правительство; Совет Министров; Штюрмер, Трепов и Голицын.—Отношение правительства к Думе.—Гр. Игнатьев и Покровский.—Беляев.—Н. Маклаков и Белецкий.—Протопопов.

На исходе 1916 года все члены государственного тела России были поражены болезнью, которая уже не могла ни пройти сама, ни быть излеченной обыкновенными средствами, но требовала сложной и опасной операции. Так понимали в то время положение все люди, обладавшие государственным смыслом; ни у кого не могло быть сомнения в необходимости операции; спорили только о том, какую степень потрясения, по необходимости сопряженного с нею, может вынести расслабленное тело. По мнению одних, государство должно было и во время операции продолжать исполнять то дело, которое главным образом и ускорило рост болезни: именно, вести внешнюю войну; по мнению других, от этого дела оно могло отказаться.

Как бы то ни было, операция, первый период которой прошел сравнительно безболезненно, совершилась. Она застигла врасплох представителей обоих

мнений и протекла в формах, неожиданных для представителей разных слоев русского общества.

Главный толчок к развитию болезни дала война; она уже третий год расшатывала государственный организм, обнаруживая всю его ветхость и лишая его последних творческих сил. Осенний призыв 1916 года захватил тринадцатый миллион землепашцев, ремесленников и всех прочих техников своего дела; непосредственным следствием этого был—паралич главных артерий, питающих страну; для борьбы с наступившим кризисом неразрывно связанных между собою продовольствия и транспорта требовались исключительные люди и исключительные способности; между тем, власть, раздираемая различными влияниями и лишенная воли, сама пришла к бездействию; в ней, по словам одного из ее представителей, не было уже ни одного „боевого атома", и весь „дух борьбы" выражался лишь в том, чтобы „ставить заслоны".

Император Николай II, упрямый, но безвольный, нервный, но притупившийся ко всему, изверившийся в людях, задерганный и осторожный на словах, был уже „сам себе не хозяин". Он перестал понимать положение и не делал отчетливо ни одного шага, совершенно отдаваясь в руки тех, кого сам поставил у власти. Распутин говорил, что у него „внутри недостает". Имея наклонность к общественности, Николай II боялся ее, тая давнюю обиду на Думу. Став верховным главнокомандующим, император тем самым утратил свое центральное положение, и верховная власть, бывшая и без того „в плену у биржевых акул", распылилась окончательно в руках Александры Федоровны и тех, кто стоял за нею.

Императрица, которую иные находили умной и блестящей, в сущности давно уже направлявшая волю царя и обладавшая твердым характером, была всецело под влиянием Распутина, который звал ее Екатериной II, и того „большого мистического настроения“ особого рода, которое, по словам Протопопова, охватило всю царскую семью и совершенно отделило ее от внешнего мира. Самолюбивая женщина, „относившаяся к России, как к провинции мало культурной“ и совмещавшая с этим обожание Распутина, ставившего ее на поклоны; женщина, воспитанная в английском духе и молившаяся вместе с тем в „тайничках“ Феодоровского Собора, — действительно управляла Россией. „Едва ли можно сохранить самодержавие,—писал около нового года придворный историограф, генерал Дубенский,—слишком проявилась глубокая рознь русских интересов с интересами Александры Федоровны“.

В „мистический круг“ входила наивная, преданная и несчастливая подруга императрицы А. А. Вырубова, иногда судившая царя „своею простотою ума“, покорная Распутину, „фонограф его слов и внушений“ (слова Протопопова). Ей, по ее словам, „вся Россия присылала всякие записки“, которые она механически передавала по назначению.

„Связью власти с миром“ и „ценителем людей“ был Григорий Распутин; для одних—„мерзавец“, у которого была „контора для обделывания дел“; для других—„великий комедьянт“; для третьих—„удобная педаль немецкого шпионажа“; для четвертых—упрямый, неискренний, скрытный человек, который не забывал обид и мстил жестоко, и который некогда

учился у магнетизера. О вреде Распутина напрасно говорили царю такие разнообразные люди как Родзянко, генерал Иванов, Кауфман-Туркестанский, Нилов, Орлов, Дрентельн, великие князья, Фредерикс. Мнения представителей власти, знавших этого безграмотного „старца“, которого Вырубова назвала „неаппетитным“, при всем их разнообразии, сходятся в одном: все они—нелестны; вместе с тем, однако, известно, что все они, больше или меньше, зависели от него; область влияния этого человека, каков бы он ни был, была громадна; жизнь его протекала в исключительной атмосфере истерического поклонения и непреходящей ненависти: на него молились, его искали уничтожить; недюжинность распутного мужика, убитого в спину на Юсуповской „вечеринке с граммофоном“, сказалась, пожалуй, более всего в том, что пуля, его прикончившая, попала в самое сердце царствующей династии.

Затворники Царского Села и „маленького домика“ Вырубовой, окрестившие друг друга и тех, кто приходил с ними в соприкосновение, такими же законспирированными кличками, какие были в употреблении в самых низах—в департаменте полиции,—были отделены от мира пропастью, которая, по воле Распутина, то суживалась, открывая доступ избранным влияниям, то расширялась, становясь совершенно непереходимой даже для родственников царя, отодвинутых тем же Распутиным на второй план; часть их перешла в оппозицию. „Теперь все Владимировичи и все Михайловичи в полном протесте против императрицы“, записывал в дневнике генерал Дубенский; они обращались к царю с письмами и запис-

ками; так, Георгий Михайлович в ноябре писал царю о ненависти к Штюрмеру самых умеренных кругов в армии и об ответственном министерстве, как единственной мере для спасения России. Письмо Николая Михайловича уже было опубликовано. Обширное письмо вел. кн. Александра Михайловича к царю от 25 декабря 1916—4 февраля 1917 годов приводится в приложении (первом), в конце книги.

Милюков был в среде этих оппозиционно настроенных великих князей после убийства Распутина, в котором один из них был замешан, что особенно отшатнуло от них царя, написавшего в ответ на просьбу „смягчить участь“ Дмитрия Павловича известную фразу: „никому не дано право заниматься убийством“. Настроение в этой среде было двойственное: радовались тому, что очистилась атмосфера, но к возможности безболезненного исхода из положения относились безнадежно.

Гораздо ближе к царской семье стоял круг придворных. В этом кругу, где „атмосфера, по выражению Воейкова, была манекен“, кипела борьба мелких самолюбий и интриг. Десятка два людей, у каждого из которых были свои обязанности („я в шахматы играю, я двери открываю“), трепетали над тем, кто из них займет место министра двора после смерти старого, временами вовсе выживающего из ума „дорогого графа“ Фредерикса, к которому царь питал большую привязанность. Некоторые из этих людей, весьма занятых биржевыми делами и получивших от правительственных низов не очень лестный эпитет „придворной рвани“, были, по своему, „конституционно“ настроены; большинство питало ярую

ненависть к Распутину. Среди них выделялись— ближе всех стоявший к царской семье зять Фредерикса, Воейков, ловкий коммерсант и владелец Куваки,—и Нилов, старый „морской волк“, пьяница, которого любили за грубость; этот последний всех откровеннее говорил с царем о Распутине; получив отпор, как все остальные, он смирился и твердил одно: „Будет революция, нас всех повесят, а на каком фонаре, все равно“.

Эта среда, как и среда правительственная, была ареной, на которой открывался широкий простор влияниям больших и малых кружков; оттуда летели записки, диктовались назначения, шла вся „большая политика“; наиболее видными кружками были кружки Бадмаева, кн. Андронникова и Манасевича-Мануйлова.

Бадмаев—умный и хитрый азиат, у которого в голове был политический хаос, а на языке шуточки, и который занимался, кроме тибетской медицины, бурятской школой и бетонными трубами—дружил с Распутиным и с Курловым, некогда сыгравшим роль в убийстве Столыпина; при помощи Бадмаевского кружка получил пост министра внутренних дел Протопопов.

Князь Андронников, вертевшийся в придворных и правительственных кругах, подносивший иконы министрам, цветы и конфекты их женам, и знакомый с царскосельским камердинером, характеризует сам себя так: „человек, гражданин, всегда желавший принести как можно больше пользы“.

Манасевич-Мануйлов, ловкий и умный журналист, был сотрудником „Нового Времени“, газеты, много лет вдохновлявшей и пугавшей правительство.

Партия правых, сильно измельчавшая, также разбилась на кружки, которые действовали путем записок и личных влияний. Их оппозиция правительству принимала угрожающие размеры при попытках сократить субсидии, которыми они пользовались всегда, но размеры которых не были баснословны. Среди правых были, повидимому, и люди действительно бескорыстно преданные идее самодержавия. Для этих „последних могикан“, по выражению Н. Маклакова, было однако ясно, что они „стояли у могилы того, во что веровали“; в записке, составленной в кружке Римского-Корсакова и переданной царю кн. Голицыным в ноябре, и в записке Говорухи-Отрока с поправкой Маклакова, переданной царю в январе (читатель найдет обе в конце книги—прил. II и III), правые тщетно пытались убедить его взять более твердый курс, особенно, по отношению к Думе, и оставить подражание „походке пьяного—от стены к стене“. Не остановили крушения—ни выходка Маркова, ни письмо Маклакова (см. прил. IV), ни попытка усиления правого крыла Государственного Совета при содействии политически беспринципного Щегловитова, ни последние назначения, вроде назначения князя Голицына.

Если все описанные круги были проникнуты своеобразным миросозерцанием, которое хоть по временам давало возможность взглянуть в лицо жизни—то круги бюрократические, непосредственно к ним примыкающие и перед ними ответственные, давно были лишены какого бы то ни было миросозерцания. Все учащающуюся смену лиц в этих кругах Пуришкевич назвал „министерской чехардой“; но лица эти

не обновляли и не поддерживали власть, а только ускоряли ее падение. Правительство, которое давно не имело представления не только о народе, но и о „земской России и Думе“, возглавлялось „недружным, друг другу не доверяющим“ Советом Министров; это учреждение перестало жить со времен П. А. Столыпина, последнего крупного деятеля самодержавия; с тех пор, оно постепенно превращалось, а при Штюрмере фактически превратилось, в старый Комитет Министров, стоящий вне политики и занимающийся „деловым“ регулированием общеимперской службы, которая, по словам людей живых и сколько-нибудь связанных со страной, давно стала „каторгой духа и мозга“. Совет Министров, говорит Протопопов, остался позади жизни и стал как бы тормазом народному импульсу“.

В сущности, уже замена на посту председателя Совета Министров опытного, но окончательно одряхлевшего бюрократа Горемыкина Штюрмером, в котором царь, как оказалось впоследствии, видел „земского деятеля“, заставила многих призадуматься. Штюрмер имел весьма величавый и хладнокровный вид и сам аттестовал свои руки, как „крепкие руки в бархатных перчатках“. На деле, он был только „футляром“, в котором скрывался хитрый обыватель, делавший все „под шумок“, с „канцелярскими уловками“; это была игрушка в руках Манасевича-Мануйлова, „старикашка на веревочке“, как выразился о нем однажды Распутин, которому случалось и прикрикнуть на беспамятного, одержимого старческим склерозом и торопившегося, как бы только сбыть с рук дело, премьера.

Ославленному Милюковым в Думе Штюрмеру пришлось уступить место Трепову. На долю этого бюрократа выпала непосильная задача—взять твердый курс в ту минуту, когда буря началась (в ноябре 1916 года); при Трепове считалось „хорошим тоном“ избегать применения 87 статьи; но все уловки только подливали масла в огонь, и недостаточно сильный, ничего не успевший изменить за 48 дней своего премьерства, Трепов пал, побежденный Протопоповым, которому удалось уловить его на предложении отступного Распутину (чтобы последний не мешался в государственные дела).

Последним премьером был князь Н. Д. Голицын, самые обстоятельства назначения которого показывают, до какой растерянности дошла власть. Стоявший вдали от дел и заведывавший с 1915 года только „Комитетом помощи русским военнопленным“, Голицын был вызван в Царское Село, будто бы императрицей. Его встретил царь, который поговорил о том, кого бы назначить премьером („Рухлов не знает французского языка, а на днях собирается конференция союзников“) и, наконец, сказал: „Я с вами хитрю, вызывал вас я, а не императрица, мой выбор пал на вас“. Голицын, „мечтавший только об отдыхе“, напрасно просился в отставку. Едва ли старый аристократ, брезгливо называвший народ „чернью“ и не твердо знакомый с делопроизводством Совета Министров, мог справиться с претившими ему ставленниками Распутина—Протопоповым и Добровольским; Протопопова не могли осилить и более сильные, у него была особая звезда, погасшая лишь тогда, когда все было кончено.

Характерно для той „большой политики", которую делал Совет Министров и которая сводилась к изысканию средств отдалить неминуемый созыв Государственной Думы, заседание Совета Министров 3 января. Его деловая сторона изложена в следующей „памятной записке", составленной И. Лодыженским:

„Совет Министров, в заседании 3 января 1917 года, обсуждал вопрос о времени предстоящего возобновления занятий законодательных учреждений, причем в среде Совета были заявлены различные мнения.

„Пять Членов (Покровский, Шуваев, Николаенко, Феодосьев и Ланговой) высказались, что в соответствии с Высочайшим Указом от 15 декабря 1916 года Государственная Дума должна быть созвана 12 января, но возможность созыва Думы должна быть подготовлена соответствующими мероприятиями.

„Председатель и 8 членов (Григорович, Риттих, Добровольский, Протопопов, Разумовский, Войновский-Кригер, Раев и Кульчицкий) находили, что при настоящем настроении думского большинства открытие Думы и появление в ней Правительства неизбежно вызовет нежелательные и недопустимые выступления, следствием коих должен бы явиться роспуск Думы и назначение новых выборов. Во избежание подобной крайней меры, Председатель и согласные с ним Члены Совета считали предпочтительным на некоторое время отсрочить созыв Думы, назначив срок созыва на 31 января.

„А. Д. Протопопов, к мнению которого присоединились Н. А. Добровольский, Н. К. Кульчицкий и Н. И. Раев, полагали продолжить срок настоящего перерыва занятий Думы до 14 февраля.

Эту формальную и сухую запись дополняет живая характеристика заседания, сделанная одним из его участников—Н. Н. Покровским. Из его рассказа мы знаем, что Протопопов развивал здесь свою „необыкновенную теорию политических течений в России“, которую он повторил и в заседании 25 февраля. Теория, по словам Н. Н. Покровского заключалась в том, что революционное течение (анархизм и социализм) постепенно втекает в оппозиционное (общественные элементы с Государственной Думой во главе); таким образом, оппозиционное течение совпадает с революционным и стремится захватить власть, вследствие чего следует бороться с оппозицией всеми средствами, вплоть до роспуска Думы. Далее, Протопопов, по словам Покровского, предлагал „графическую схему“ и „нес околесную“, так что несколько лиц переглянулись и спросили друг друга: „Вы что-нибудь поняли“? Характерно, однако, что мнение Протопопова и было принято; правда, он пошел на известную уступку.

Среди членов правительства было немного лиц, о которых можно говорить подробно, так как их личная деятельность мало чем отмечена; все они неслись в неудержимом водовороте к неминуемой катастрофе. Среди них были и люди высокой честности, как, например, министр народного просвещения граф Игнатьев, много раз просившийся в отставку и смененный Кульчицким лишь за два месяца до переворота, или министр иностранных дел Покровский, которому приходилось указывать на невозможность руководить внешней политикой при существующем курсе политики внутренней; но и

эти люди ничего не могли сделать для того, чтобы предотвратить катастрофу.

Большую роль в февральские дни пришлось сыграть последнему военному министру генералу Беляеву, которого Родзянко считает человеком порядочным. А. А. Поливанов характеризует его, как своего бывшего ученика—старательного и добросовестного, но к творчеству неспособного и склонного к угодничеству.

Нельзя обойти молчанием двух лиц, которые приняли участие в развертывающихся событиях и готовились стать у власти. Один из них—бывший министр вн. дел, любимец царя, Н. Маклаков, которого царский курьер не застал на Рождестве в Петербурге; повидимому, он имел шансы сменить Протопопова; будучи человеком правых убеждений, Маклаков сознавал „вне суматохи и бесконечного верчения административного колеса“, что дело правых, которых „били, не давали встать, и опять били“, безвозвратно проиграно.

Другим претендентом на власть, который должен был накануне переворота стать заместителем генерала Батюшина, был С. Белецкий, выдающийся в свое время директор департамента полиции, едва не ставший обер-прокурором синода; это был человек практики, услужливый и искательный, который умел „всюду втереться“.

Последнему министру внутренних дел Протопопову суждено было занять исключительное место в правительственной среде. Роль его настолько велика, что на его характеристике следует остановиться подробней.

А. Д. Протопопов, помещик и промышленник из симбирских дворян и член Государственной Думы от партии 17 октября, был выбран товарищем председателя четвертой Государственной Думы. О нем заговорили тогда, когда, весной 1916 года, он отправился заграницу, в качестве члена парламентской делегации, и на обратном пути, в Стокгольме, имел беседу с советником германского посольства Варбургом. Подробности этой беседы, имевшей целью нащупать почву для заключения мира, передавались различно, не только лицами, осведомленными о ней, но и самим Протопоповым.

В то время у Протопопова были уже широкие планы. Он лелеял мысль о большой газете, которая объединила бы промышленные круги, и в которой сотрудничали бы „лучшие писатели—Милюков, Горький и Меньшиков“. Газета воплотилась впоследствии в „Русскую Волю“. Тогда же в голову его вступила „дурная и несчастная мысль насчет министерства“, ибо „честолюбие его бегало и прыгало“; первоначально он думал лишь о министерстве торговли.

Действуя одновременно в разных направлениях и не порывая отношений с думской средой, Протопопов сумел проникнуть к царю и заинтересовать его своей стокгольмской беседой, а также—приблизиться к Бадмаеву, с которым свела его болезнь, и к его кружку, где он узнал Распутина и Вырубову.

16 сентября 1916 года Протопопов, неожиданно для всех и несколько неожиданно для самого себя, был, при помощи Распутина, назначен управляющим министерством внутренних дел. Ему сразу же довелось проникнуть в самый „мистический круг“

царской семьи, оставив за собой как Думу и прогрессивный блок, из которых он вышел, так и чуждые ему бюрократические круги, для которых он был неприятен, и придворную среду, которая видела в нем выскочку и, со свойственной ей порою вульгарностью языка, окрестила его „балоболкой".

Почувствовав „откровенную преданность" и искреннее обожание к „Хозяину Земли Русской" и его семье, и получив кличку „Калинина" (данную Распутиным), Протопопов, с присущими ему легкомыслием и „манией величия", задался планами спасения России, которая все чаще представлялась ему „царской вотчиной". Он замышлял передать продовольственное дело в министерство внутренних дел, произвести реформу земства и полиции и разрешить еврейский вопрос.

На деле оказалось прежде всего полное незнакомство с ведомством, сказавшееся, например, при посещении Москвы, описанном Челноковым. Протопопов стал управлять министерством, постоянно болея „дипломатическими болезнями", при помощи многочисленных и часто меняющихся товарищей; среди них были неоффициальные, как Курлов, возбуждавший особую к себе и своему прошлому ненависть в общественных кругах. Протопопову, по его словам, „некогда было думать о деле"; он втягивался все более в то, что называлось в его времена „политикой"; будучи „редким гостем в Совете Министров", он был частым гостем Царского Села.

С первого шага, Протопопов возбудил к себе нелюбовь и презрение общественных и правительственных кругов. Отношение Думы сказалось на

совещании с членами прогрессивного блока, устроенном 19 октября у Родзянки (см. прил. V в конце книги); но Протопопов, желавший, „чтобы люди имели счастие“, и полагавший, что „нельзя гений целого народа поставить в рамки чиновничьей указки“, оказался, несмотря на жандармский мундир Плеве, в котором он однажды щегольнул перед думской комиссией, неприемлемым и для бюрократии, увидавшей в нем мечтателя и общественного деятеля; недаром сам Распутин сказал однажды, что Протопопов—„из того же мешка“, и что у него „честь тянется, как подвязка“.

К этому присоединилось влияние личного характера Протопопова, который „стал в контры с собственной думою“ и заставил многих сделать из него „притчу во языцех“ и отнестись к нему юмористически. Характерно, например, его (ставшее известным лишь впоследствии) знакомство с гадателем Шарлем Перэном, едва ли не германским шпионом, о чем и предупреждал директор департамента полиции; Протопопов не хотел об этом знать, веруя в свой „рок“; он неудержимо интересовался тем, что говорил ему Перэн: что „его планета—Юпитер, которая проходит под Сатурном, и разные гороскопические вещи“.

Полная неудача в замышленных реформах и травля со всех сторон озлобили Протопопова. В то время как Милюков, накануне убийства Распутина, назвал его в Думе „загадочной картинкой“, Протопопов вступил уже на путь „революционно-правой“, по собственному выражению, политики, выразившейся в борьбе с Государственной Думой, запрещении

съездов, преследовании общественных организаций и печати, давлении на выборы и, наконец, многочисленных арестах, завершившихся январьским арестом рабочей группы Военно-Промышленного Комитета. Этим, а также и тем, что на Протопопова временами „накатывало“, что сближало его с духом Царского Села, объясняется его пребывание на посту до конца; после убийства Распутина 17 декабря положение Протопопова не только не пошатнулось, но упрочилось: 20 декабря он был из управляющих сделан министром внутренних дел, и с тех пор, несмотря на все окружавшие его враждебные толки и на многочисленные попытки весьма влиятельных лиц заставить его уйти, продолжал свое дело до последней минуты.

Личность и деятельность Протопопова сыграли решающую роль в деле ускорения разрушения царской власти. Распутин накануне своей гибели, как бы, завещал свое дело Протопопову, и Протопопов исполнил завещание. В противоположность обыкновенным бюрократам, которым многолетний чиновничий опыт помогал сохранять видимость государственного смысла, Протопопов принес к самому подножию трона весь истерический клубок своих личных чувств и мыслей; как мяч, запущенный рассчетливой рукой, беспорядочно отскакивающий от стен, он внес развал в кучу порядливо расставленных, по видимости устойчивых, а на деле шатких кегель государственной игры.

В этом смысле Протопопов оказался, действительно, „роковым человеком“.

II.

Настроение общества и события накануне переворота.

Январьские и февральские доклады петербургского охранного отделения.—Арест Рабочей Группы Центрального Военно-Промышленного Комитета и роль Обросимова. — Выделение петербургского военного округа.—Приготовления к 14 февраля.—Настроения светских кругов и армии —Последний всеподданнейший доклад Родзянко.—Н. Маклаков и его проект манифеста.—Открытие сессии законодательных палат.

Таково было состояние власти, „охваченной, по выражению Гучкова, процессами гниения", что сопровождалось „глубоким недоверием и презрением к ней всего русского общества, внешними неудачами и материальными невзгодами в тылу". За несколько месяцев до переворота, в особом совещании по государственной обороне, под председательством генерала Беляева, Гучков сказал в своей речи: „Если бы нашей внутренней жизнью и жизнью нашей армии руководил германский генеральный штаб, он не создал бы ничего, кроме того, что создала русская правительственная власть". Родзянко назвал деятельность этой власти „планомерным и правильным изгнанием всего того, что могло принести пользу в смысле победы над Германией".

Единственным живым органом, который учитывал политическое положение и понимал, насколько опасна для расстроенного правительства организованная общественность, которая, в лице прогрессивного блока, военно-промышленных комитетов и др. общественных организаций, давно могла с гораздо большим успехом действовать в направлении обороны

страны, был департамент полиции. Доклады охранного отделения в 1916 году дают лучшую характеристику общественных настроений; они исполнены тревоги, но их громкого голоса умирающая власть уже услышать не могла.

В секретном докладе „отделения по охранению общественной безопасности и порядка в столице“ от 5 января, на основании добытого через секретную агентуру осведомительного материала, сообщается, что, по слухам, были перед Рождеством какие-то законспирированные совещания членов левого крыла Государственного Совета и Государственной Думы, что постановлено ходатайствовать перед Высочайшею Властью об удалении целого ряда представителей правительства с занимаемых ими постов; во главе означенного списка стоят Щегловитов и Протопопов.

„Настроение в столице носит исключительно тревожный характер. Циркулируют в обществе самые дикие слухи, как о намерениях Правительственной власти, в смысле принятия различного рода реакционных мер, так равно и о предположениях враждебных этой власти групп и слоев населения, в смысле возможных и вероятных революционных начинаний и эксцессов. Все ждут каких-то исключительных событий и выступлений, как с той, так и с другой стороны. Одинаково серьезно и с тревогой ожидают, как разных революционных вспышек, так равно и несомненного якобы в ближайшем будущем, „дворцового переворота“, провозвестником коего, по общему убеждению, явился акт в отношении „пресловутого старца“.

Далее сообщается, что всюду идут толки об общем (а не только партийном) терроре, в связи с вероятным окончательным роспуском Думы. Политический момент напоминает канун 1905 года; „как и тогда, все началось с бесконечных и бесчисленных съездов и совещаний общественных организаций, выносивших резолюции резкие по существу, но, несомненно, в весьма малой и слабой степени выражавшие истинные размеры недовольства широких народных масс населения страны".

„Весьма вероятно, что начнутся студенческие беспорядки, к которым примкнут и рабочие, что все это увенчается попытками к совершению террористических актов, хотя бы в отношении нового Министра Народного Просвещения или Министра Внутренних Дел, как главного, по указаниям, виновника всех зол и бедствий, испытываемых страною".

„Либеральная буржуазия верит, что в связи с наступлением перечисленных выше ужасных и неизбежных событий, Правительственная власть должна будет пойти на уступки и передать всю полноту своих функций в руки кадет, в лице лидируемого ими прогрессивного блока, и тогда на Руси „все образуется". Левые же упорно утверждают, что наша власть зарвалась, на уступки ни в коем случае не пойдет и, не оценивая в должной мере создавшейся обстановки, логически должна привести страну к неизбежным переживаниям стихийной и даже анархической революции, когда уже не будет ни времени, ни места, ни оснований для осуществления кадетских вожделений и когда, по их убеждениям, и создастся почва для „превращения России в свободное

от царизма государство, построенное на новых социальных основах".

Перед 9 января начальник охранного отделения Глобачев докладывает о „настроениях революционного подполья" по партиям и приходит к следующему выводу: „Ряд ликвидаций последнего времени в значительной мере ослабил силы подполья и ныне, по сведениям агентуры, к 9 января возможны лишь отдельные разрозненные стачки и попытки устроить митинги, но все это будет носить неорганизованный характер". Однако же, здесь констатируется „общая распропагандированность пролетариата".

19 января вновь следует обширный „совершенно секретный" доклад охранного отделения. „Отсрочка Думы продолжает быть центром всех суждений... Рост дороговизны и повторные неудачи правительственных мероприятий по борьбе с исчезновением продуктов вызвали еще перед Рождеством резкую волну недовольства... Население открыто (на улицах, в трамваях, в театрах, магазинах) критикует в недопустимом по резкости тоне все Правительственные мероприятия".

Отмечаются: „успех крайне левых журналов и газет" („Летопись", „Дело", „День", „Русская Воля" и появление „Луча"); оппозиционные речи „в самых умеренных по своим политическим симпатиям кругах"; доверчивость широких масс к Думе, которая еще недавно считалась „черносотенной" и „буржуазной", разговоры о „мужестве Милюкова и Родзянки" после 1 ноября.

„Озлобленное дороговизной и продовольственной разрухой большинство обывателей — в тумане", пи-

тается „злостными сплетнями“ о „Думской петиции“, об „организации офицеров, постановившей убить ряд лиц, якобы, мешающих обновлению России“.

„Неспособные к органической работе и переполнившие Государственную Думу политиканы... способствуют своими речами разрухе тыла... Их пропаганда, не остановленная Правительством в самом начале, упала на почву усталости от войны; действительно возможно, что роспуск Государственной Думы послужит сигналом для вспышки революционного брожения и приведет к тому, что Правительству придется бороться не с ничтожной кучкой оторванных от большинства населения членов Думы, а со всей Россией“.

„Резюмируя эти колеблющиеся настроения в нескольких словах, можно сказать, что ожидаемый массами в феврале месяце роспуск Государственной Думы не обязательно вызовет, но легко может вызвать всеобщую забастовку, которая объединит в себе всевозможные политические направления и которая, начавшись под флагом популярной сейчас „борьбы за Думу“, окончится требованием окончания войны, всеобщей амнистии, всех свобод и пр.“.

„В действующей армии, согласно повторным и все усиливающимся слухам, террор широко развит в применении к нелюбимым начальникам, как солдатам, так и офицерам“. „Поэтому, слухи о том, что за убийство Распутина—этой „первой ласточки“ террора—начнутся другие „акты“,—заслуживают самого глубокого внимания... Нет в Петрограде в настоящее время семьи так называемого „интеллигентного обывателя“, где „шепотком“ не говорилось бы о том,

что „скоро, наверное, прикончат того или иного из представителей правящей власти“ и что „теперь такому-то безусловно не сдобровать“. Характерный показатель того, что озлобленное настроение пострадавшего от дороговизны обывателя требует кровавых гекатомб из трупов министров, генералов... В семьях лиц, мало-мальски затронутых политикой, открыто и свободно раздаются речи опасного характера, затрагивающие даже Священную Особу Государя Императора“.

Далее сообщаются слухи о „национальной партии“, образованной Пуришкевичем, о резко намечающемся авантюризме наших доморощенных „Юань-Шикаев“, в лице Гучкова, Коновалова, князя Львова, стремящихся использовать могущие неожиданно вспыхнуть „события“ в своих личных видах и целях и беззастенчивым провокационным образом муссирующих настроение представителей авторитетных рабочих групп Военно-Промышленных Комитетов.

„Общий вывод из всего изложенного“: „если рабочие массы пришли к сознанию необходимости и осуществимости всеобщей забастовки и последующей революции, а круги интеллигенции—к вере в спасительность политических убийств и террора“, то это указывает на „жажду общества найти выход из создавшегося политически-ненормального положения“, которое с каждым днем становится все ненормальнее и напряженнее“.

Следующий „совершенно секретный“ доклад генерала Глобачева относится к 26 января.

„Передовые и руководящие круги либеральной оппозиции, сообщается здесь, уже думают о том,

кому и какой именно из ответственных портфелей удастся захватить в свои руки“. При этом, „в данный момент находятся в наличности две исключительно серьезные общественные группы“, которые „самым коренным образом расходятся по вопросу о том, как разделить „шкуру медведя“.

„Первую из этих групп составляют руководящие „дельцы“ парламентского прогрессивного блока, возглавляемые перешедшим в оппозицию и упорно стремящимся „к премьерству“ председателем Государственной Думы—шталмейстером Родзянко“. Они окончательно изверились в возможность принудить представителей Правительства уйти со своих постов добровольно и передать всю полноту своей власти думскому большинству, долженствующему насадить в России начала „истинного парламентаризма по западно-европейскому образцу“. Поэтому, их задача состоит в том, чтобы „заручиться хотя бы дутыми директивами „народа“, для чего войти в сношение с „сохранившей свою революционную физиономию, но в то же самое время явно отколовшейся от руководящих кругов социалистического старого „Интернационала“ рабочей группой“. „Дав время рабочей массе, самостоятельно обсудить задуманное, представители рабочей группы лично и через созданную ею особую „пропагандистскую коллегию“ должны организовать ряд массовых собраний по фабрикам и заводам столицы и, выступая на таковых, предложить рабочим прекратить работу в день открытия заседаний Государственной Думы—14 февраля сего года—и, под видом мирно настроенной манифестации, проникнуть ко входу в Таврический Дворец. Здесь,

вызвав на улицу председателя Государственной Думы и депутатов, рабочие в лице своих представителей, должны громко и открыто огласить принятые на предварительных массовых собраниях резолюции с выражениями их категорической решимости поддержать Государственную Думу в ее борьбе с ныне существующим Правительством". При этом, опасения рабочей группы противодействия со стороны „инакомыслящих подпольных социалистических течений" отпали, потому что „социал-демократические группы большевиков, объединенцев и интернационалистов-ликвидаторов не склонны ни противодействовать, ни способствовать их затее", а „занять выжидательную позицию".

Во главе второй группы, „действующей пока законспирированно и стремящейся во что бы то ни стало „выхватить будущую добычу" из рук представителей думской оппозиции стоят не менее жаждущие власти А. И. Гучков, князь Львов, С. Н. Третьяков, Коновалов, М. М. Федоров и некоторые другие". Эта группа рассчитывает на то, что думцы не учитывают „еще не подорванного в массах лойяльного населения обаяния Правительства" и—с другой стороны—„инертности" народных масс. Вся надежда этой группы—неизбежный в самом ближайшем будущем дворцовый переворот, поддержанный всего на всего одной, двумя сочувствующими воинскими частями". „Независимо от вышеизложенного, вторая группа, скрывая до поры до времени свои истинные замыслы, самым усердным образом идет навстречу первой", причем „заслуживает исключительного внимания возникшее по

инициативе А. И. Гучкова предположение о созыве в начале февраля особого и чрезвычайного совещания руководящих представителей Центрального Военно-Промышленного Комитета, „Земгора", думских оппозиционных фракций, профессуры, общественных организаций и, по возможности, Государственного Совета"...

„Что будет и как все это произойдет, заканчивает охранное отделение, судить сейчас трудно, но, во всяком случае, воинствующая оппозиционная общественность безусловно не ошибается в одном: события чрезвычайной важности и чреватые исключительными последствиями для русской государственности „не за горами".

Повидимому, непосредственным результатом этого доклада и был арест рабочей группы, состоявшийся 27 января. Об этой ликвидации охранное отделение составило секретный доклад. Здесь указывается, что представители группы „организовали и подготовляли демонстративные выступления рабочей массы столицы на 14 февраля", с тем, чтобы заявить депутатам Думы свое „требование незамедлительно вступить в открытую борьбу с ныне существующим правительством и Верховной властью и признать себя впредь до установления нового государственного устройства, временным правительством. Матерьял, взятый при обысках, вполне подтвердил изложенные сведения, вследствие чего, переписка по этому делу, в виду признаков преступления, предусмотренного 102 ст. Уг. Улож., передана Прокурору Петроградской Судебной Палаты".

Кроме того, были обысканы и арестованы четыре члена „пропагандистской коллегии Рабочей Группы“, у которых „достаточного матерьяла для привлечения их к судебной ответственности не обнаружено“; тем не менее, они признаны „лицами безусловно вредными для государственного порядка и общественногоспокойствия“; предложено выслать их из Петербурга под гласный надзор полиции.

А. И. Гучков, по его словам, был убежден, что департаменту полиции удастся проникнуть в среду тех человек пятнадцати рабочих, которые были в составе Центрального Военно-Промышленного Комитета, о чем он не раз предупреждал председателя рабочей группы Гвоздева. Арест был предпринят, повидимому, не департаментом, а министерством внутренних дел, „как акт высокой политики“. В этом сознался и Протопопов, который докладывал царю, что образование рабочих секций опасно и напоминает „организацию Хрусталева-Носаря 1905 года“. Протопопов советовался об аресте с Хабаловым, который написал письмо Гучкову с указанием на революционность Рабочей Группы. Ответа на это письмо не было, и Протопопов решил произвести арест „по ордеру военного начальства“, получив на это разрешение от царя.

После ареста Гучков и Коновалов предприняли три шага: во-первых, выступили с протестом в прессе; во-вторых, поехали к князю Голицыну, минуя Белецкого, Васильева и Протопопова; с последним Гучкову особенно тяжело было встречаться, как с бывшим товарищем по фракции,

«Если бы вам приходилось арестовывать людей за оппозиционное настроение, то вам всех нас пришлось бы арестовать», сказал Гучков Голицыну. Последний «отнесся благосклонно», сослался на Протопопова и обещал пересмотреть дело. Протопопов рассказывает, что Голицын сказал ему, что он сделал ошибку, арестовав рабочую группу после того письма с призывом рабочих к спокойствию, которое было опубликовано в газетах и подписано членами рабочей группы (а сфабриковано—в департаменте полиции). Гучков доказывал Голицыну, что группа не замышляла ни вооруженного восстания, ни переворота, но занималась политикой в том смысле, что считала возможным решение вопросов обороны лишь при условии изменения политических условий работы.

Третьим шагом Гучкова и Коновалова было собрание представителей Центрального Военно-Промышленного Комитета и особого совещания по обороне. Об этом собрании обстоятельно повествует совершенно секретный доклад охранного отделения от 31 января.

Собрание состоялось 29 января в 11 час. утра „экстренно и с соблюдением ряда предосторожностей, при участии представителей Центрального Военно-Промышленного Комитета (Гучков, Коновалов, Кутлер и др.), Московского Военно-Промышленного Комитета (Переверзев и др.), Государственной Думы (Керенский, Чхеидзе, Аджемов, Караулов, Милюков, Бубликов и др.), Государственного Совета и Земского и Городского Союзов (фамилии охранному отделению неизвестны). Председательствовав-

ший Гучков сообщил об аресте группы; все высказали полное сочувствие и готовность подать голос в защиту организации. Охранное отделение заканчивает свой доклад хвастливым выводом, основанным на наблюдении „настроений участников означенного совещания: имеются все данные для того, чтобы признать факт ликвидации рабочей группы Центрального Военно - Промышленного Комитета действительно исключительным по неожиданности и впечатлению ударом для оппозиционной и на боевой лад настроившейся общественности. Розовые перспективы хитро задуманных и через рабочую группу подготовлявшихся массовых рабочих выступлений в значительной степени поблекли; но, во всяком случае, если многие рабочие души и отчаялись в возможности осуществления вожделенных достижений, то более стойкие и упористо-настроенные „завоеватели власти“ могли с досадой воскликнуть лишь одно: „сорвалось, придется начинать сначала“.

В докладе подробно описано настроение собравшихся и содержание их речей. Между прочим, содержание речи некоего представителя рабочей группы, рабочего Обросимова скромно излагается так: он „указал на ошибку тех, кто стремится видеть в аресте представителей группы лишь своего рода юридически интересный факт; здесь нужно признать наличность явления, имеющего крупное политическое значение и в той или иной мере задевающего русскую общественность“.

А. И. Гучков рассказывает, что Обросимов, к удивлению его оказавшийся на свободе, произнес

резкую речь о том, что группа только прикидывалась мирной, а на самом деле преследует революционные цели вплоть до вооруженного восстания и свержения власти, для чего и пошла в Комитет.

Обросимов как бы оправдывал действия власти. Гучков, всегда относившийся к нему с предубеждением, ответил, что его слова расходятся с тем, что ему, Гучкову, известно, и с тем, что говорили Гвоздев и его товарищи, сидящие под арестом. Обросимов замолчал и сел; однако его слова смутили присутствующих. Чхеидзе и другие левые промолчали, повидимому, не слишком доверяя аудитории.

Обросимов принадлежал вообще к самому левому флангу и науськивал группу на самые резкие выступления даже на съезде. Группа была арестована вся, кроме двух рабочих, которых не было в городе, и Обросимова, объяснившего, что его не было дома. Председатель группы Гвоздев не убедился подозрениями Гучкова и доверчиво считал, что Обросимов человек хороший. Гучкова же убеждало в том, что Обросимов не чист, еще и то обстоятельство, что ему было известно, что в департаменте полиции имеется подробный отчет о совещании, не могший пройти через канцелярию Военно-Промышленного Комитета. Протопопов рассказывает, что Обросимов согласился отбыть наказание, и что он, Протопопов, испросил бы у царя помилование этому сотруднику и дал бы ему возможность бежать, как это делалось обычно. Обросимов, по словам Гучкова, человек „недалекий, неспособный, насвистанный“.

Подробности совещаний группы Гучкову неизвестны; „к нам, говорит он, они приходили уже сго-

ворившимися, застрельщиками"; они вошли в группу не столько из интереса к работе по обороне, сколько из-за того, что тут им представлялась единственная возможность сорганизоваться в легальной форме, для преследования своих интересов.

После ареста Обросимова Протопопов боялся, что департамент полиции не будет больше получать сведений о рабочей среде. Васильев успокоил его, что сведения будут „также, как и прежде". „Очевидно, говорит Протопопов, постоянных сотрудников в рабочей среде департамент полиции имел достаточно".

Был проект арестовать Гучкова. Царь боялся его, а Протопопов доложил, что арест только „увеличил бы его популярность" которая „будет подорвана, когда обнаружатся злоупотребления в Военно-Промышленном Комитете". Царь, прибавляет он, понимал, что я ему доложил правду". Г-жа Сухомлинова написала Протопопову, что „за арест секции в Царском Селе ему поставлен плюс".

Итак, министерство внутренних дел „нанесло удар оппозиции"; однако, тревожное настроение росло. Глобачев доносит о забастовках и сходках на фабриках и заводах 31 января, 1, 3, 4 февраля. 5 февраля появляется его обширнейший и совершенно секретный доклад о „положении продовольственного дела в столице", а 7 февраля—соображения по поводу „широкого распространения спиртовых суррогатов"—лаков и политуры.

В начале февраля петербургский военный округ был выделен из северного фронта в особую единицу, с подчинением его генерал-лейтенанту Хабалову, которому были даны очень широкие права. Вот что

рассказывает об этом член Военного Совета, генерал Фролов: „В одном из заседаний Военного Совета в конце января или начале февраля в Совет был внесен доклад по Главному Управлению Генерального Штаба по отделу об устройстве и службе войск о выделении из района армий северного фронта Петроградского военного округа и о подчинении командующего войсками военному министру. По чьему желанию это было сделано, я не знаю, но внесено было неожиданно по приказанию генерала Беляева и в экстренном порядке. Мотивировалось это особыми условиями, в которых находится Петроград с его окрестностями. При обсуждении в Военном Совете этого проекта, последний подвергся существенному изменению, в смысле изъятия его из подчинения военному министру... Генерал Беляев согласился на сделанные изменения. Меня очень поразило это желание в проекте подчинять командующего войсками военному министру, несмотря на широкие полномочия, которые проект представлял командующему войсками по сравнению с командующими войсками внутренних округов, каковые по закону по отношению к военному министру не ставятся в подчинение. Я лично объяснил себе предоставление таких больших полномочий командующему войсками целью более успешной борьбы с рабочими волнениями».

Протопопов описывает, как он был по этому поводу у императрицы, бранил Рузского и хвалил Хабалова, настаивая на выделении петербургского округа. Хабалов являлся царю и императрице, после чего протопоповский план и был приведен в исполнение.

В докладе охранного отделения от 5 февраля говорится: „С каждым днем продовольственный вопрос становится острее, заставляет обывателя ругать всех лиц, так или иначе имеющих касательство к продовольствию, самыми нецензурными выражениями. Следствием нового повышения цен и исчезновения с рынка предметов первой необходимости явился „новый взрыв недовольства“, охвативший „даже консервативные слои чиновничества“... Тщетно публицисты в газетах призывают к терпению... Никогда еще не было столько ругани, драк и скандалов, как в настоящее время, когда каждый считает себя обиженным и старается выместить свою обиду на соседе“. „Обывателя стригут по несколько раз в день и он по своей беспечности лишь вопит к администрации: „спасите, не дайте снять совершенно шкуру!“

Вывод доклада: „если население еще не устраивает голодные бунты“, то это еще не означает, что оно их не устроит в самом ближайшем будущем: озлобление растет, и конца его росту не видать... А что подобного рода стихийные выступления голодных масс явятся первым и последним этапом по пути к началу бессмысленных и беспощадных эксцессов самой ужасной из всех—анархической революции—сомневаться не приходится“.

7, 8, 9, 10, 13 февраля продолжают поступать доклады о забастовках на разных заводах, сопровождающихся иногда вмешательством полиции, в которую 8 февраля на Путиловском заводе „посыпался град железных обломков и шлака“.

7 февраля охранное отделение доносит, что „предстоящее 14 февраля открытие Государственной Думы

создаст повышенное настроение“ в столице, и что, несмотря на ликвидацию рабочей группы, „ныне следует считать неизбежными стачки 14 февраля и попытки устроить шествие к Таврическому Дворцу, не останавливаясь даже перед столкновениями с полицией и войсками“. „С.-д. большевики, относясь к Рабочей Группе, как к организации политически-нечистой, и не признавая Государственной Думы, постановили решение группы не поддерживать, а создать движение пролетариата собственными силами, приурочив выступление к 10 февраля, т.-е., к годовщине суда над бывшими членами с.-д. фракции большевиков Государственной Думы. В этот день предполагается всеобщая стачка... С.-д. объединенцы (Междурайонный Комитет) и с.-д. меньшевики (Центральная Инициативная Группа) вынесли решения, вполне аналогичные с большевиками“...

Глобачев заключает свой доклад обещанием „со стороны вверенного ему отделения принять все возможные меры к предотвращению и ослаблению грядущих весьма серьезных событий“.

9 февраля в газетах появилось объявление Хабалова петербургским рабочим, сопровожденное воззванием Милюкова.

Кроме агентуры в рабочей, интеллигентской и обывательской среде, существовали осведомители и в светском обществе. На двух листках от 28 января и от 10 февраля, сообщенных Васильевым Протопопову, содержатся интересные данные о графине И. И. Шереметевой, рожденной графине Воронцовой-Дашковой, которая считается „либеральной дамой“; „ее увлекла мысль создать у себя влиятельный

либерально-аристократический политический салон". Сообщается, что „слухи о заговоре и чуть ли не декабристских кружках в среде офицеров гвардейской кавалерии подтверждения не встречают". „Политических дам" в Кавалергардском и Лейб-Гусарском полках нет. „Нечто подобное"—салон жены бывшего кавалергарда г-жи Лазаревой, родной тетки причастного к убийству Распутина Сумарокова-Эльстона; дом ее посещают кавалергарды, а иногда Родзянко, который здесь делится своими думскими впечатлениями. Кавалергарды и лейб-гусары несколько будируют на разруху и на Царское Село. Они полагают, что убийством Распутина вредные влияния не исчерпаны. Тяжело отражается на них и отсутствие побед: они „закисли"; но данных о зреющем заговоре — нет (впрочем, в одной подобной же записке, без подписи от 25 января, указано—что выясняются симптомы происходящей группировки офицеров гвардейских полков. Так, в настоящее время, повидимому, „по определенному плану используется отпуск офицеров гвардейской кавалерии"; следуют подробности о лейб-гусарах, синих кирасирах и связях некоторых кругов с Родзянко).

Среди депутатов-националистов, сообщается далее, разнесся слух, что великий князь Дмитрий Павлович убит на фронте. Графиня Игнатьева опровергает этот слух, так же, как и другие „злостные вымыслы—об отречении Государя Императора от престола".

К предстоящей сессии Государственной Думы графиня Игнатьева относится спокойно, не разделяя опасений правых о „грандиозном скандале". Относи-

тельно Протопопова, который посетил ее, графиня полагает, что „Россия, со времени исторических людей, не имела такого сильного, мужественного, православно-религиозного человека, преданного Царю и Родине“, и находит, что он очень бодр, моложав и свеж на вид (интересно отметить, что Протопопов, по собственному признанию, посещал графиню Игнатьеву с тем, чтобы узнать, какие собрания у нее происходят).

Далее приводится интересное мнение графини Игнатьевой о том, что не следует увеличивать жалованья духовенству (тогда заседала комиссия под председательством Питирима) потому, что все ассигновки, кроме военных, должны быть сокращены, а священники очень хорошо обеспечены, и имели бы еще больше доходов, если бы не ленились посещать частные дома с молитвою в праздничные дни; предвыборной агитации священники тоже не умеют вести, а политическое влияние на крестьян имеют „велосипедисты“, агитирующие среди крестьян „где-нибудь в поле“ и раздающие им „листочки“ с заманчивыми обещаниями.

О настроениях армии рассказывает тот же Протопопов, который, не доверяя сведениям контр-разведки, хотел восстановить в войсках постоянную секретную агентуру, уничтоженную генералом Джунковским, о чем и докладывал царю. Несмотря на согласие царя, департамент полиции не успел завести постоянных сотрудников в армии; однако, до Протопопова доходили сведения, что „настроение и там повышается“. „Я знал, пишет он, что в войсках читаются газеты преимущественно левого направ-

ления, распространяются воззвания и прокламации; слышал, что служащие Земского и Городского Союзов агитируют среди солдат; что генерал Алексеев сказал царю: „Войска уже не те стали", намекая на растущее в них оппозиционное настроение... Я думал, что настроение запасных батальонов и других войск, стоявших в Петрограде, мне более известно; считал благонадежными учебные команды и все войска, за исключением частей, пополняемых из рабочей и мастеровой среды; жизнь показала, что я и тут был не осведомлен... Я докладывал царю, что оппозиционно настроены высший командный состав и низший; что в прапорщики произведены многие из учащейся молодежи, но что остальные офицеры консервативны; что офицеры генерального штаба полевели; наделав в войне столько ошибок, они должны были покраснеть и чувствовать, что после войны у них отнимутся привилегии по службе; что оппозиция не искала бы опоры в рабочем классе, если бы войско было бы революционно настроено. Царь, повидимому, был доволен моим докладом; он слушал меня внимательно".

Лицом, заинтересованным в настроениях армии с другой стороны, был Гучков, который полагал, что в конце года никого не приходилось убеждать в том что, старый режим сгнил. Гучков надеялся, что армия, за малыми исключениями, встанет на сторону переворота, сопровождаемого террористическим актом (как лейб-кампанцы XVIII века или студент с бомбой), но не стихийного и не анархического, а переворота, подобного заговору декабристов. Существовал план захватить императорский поезд между Ставкой и

Царским и вынудить у царя отречение; одновременно, при помощи войск, арестовать правительство и затем уже объявить о перевороте и о составе нового правительства. Среди офицеров были и социалистически настроенные, готовые идти на республиканский строй, но были также люди с принципиальными верованиями и симпатиями. „Отказа не было", но требовалась глубочайшая осторожность, ибо преждевременное раскрытие сделало бы невозможными дальнейшие шаги.

Так осторожно определяет настроение армии человек, с которым, по его словам, говорил откровенно простой солдат и генерал. Другой знаток армии, генерал Н. И. Иванов просто отказывается судить о ней, говоря: „состав офицеров и солдат переменившийся в течение войны 4—6 раз, не дает возможности судить, что представляют из себя те части, которые в мирное время считались образцовыми".

Очень интересный документ представляет письмо какого-то раненого „офицера русской армии", посланное из Москвы 25 января Протопопову (копия Милюкову). Автор письма говорит, с одной стороны, что надо „обуздать печать" и послать Милюковых и Маклаковых в окопы, чтобы они перестали работать на оборону и увидели, что такое война: легко им из кабинета предлагать воевать „до победного конца". С другой стороны, офицер считает, что нельзя продолжать войну и надо заключить мир, пока нет ни победителей, ни побежденных. „Если мир не будет заключен в самом ближайшем будущем, то можно с уверенностью сказать, что будут беспорядки... Люди, призванные в войска, впадают

в отчаяние... не из малодушия и трусости, а потому что никакой пользы от этой борьбы они не видят".

Таково было настроение разных слоев русского общества, когда Родзянко поехал в Царское Село 10 февраля со своим последним всеподданнейшим докладом (см. прил. VI в конце книги). Царь еще в декабре очень сердился на Родзянко; новогодний прием отличался особой сухостью. Последний же доклад, названный в газетах „высокомилостивым", был, по словам Родзянко, „самый тяжелый и бурный". Царь, после убийства Распутина, был заранее агрессивно настроен; императрица „пылала местью", видя в каждом врага. В этот день у царя были великие князья Александр Михайлович и Михаил Александрович; после Родзянки Щегловитов окончательно испортил дело своим докладом.

Когда Родзянко прочел доклад, царь сказал: „Вы все требуете удаления Протопопова?" — „Требую, ваше величество; прежде я просил, а теперь требую". — „То-есть, как?" — „Ваше величество, спасайте себя. Мы накануне огромных событий, исхода которых предвидеть нельзя. То, что делает ваше правительство и вы сами, до такой степени раздражает население, что все возможно. Всякий проходимец всеми командует. Если проходимцу можно, почему же мне, порядочному человеку, нельзя? Вот суждение публики. От публики это перейдет в армию, и получится полная анархия. Вы изволили иногда меня слушаться, и выходило хорошо".

— „Когда?" — спросил царь. — „Вспомните, в 1913 году вы уволили Маклакова". — „А теперь я о нем

очень жалею,—сказал царь, посмотрев в упор,—этот, по крайней мере, не сумасшедший". — „Совершенно естественно, ваше величество, потому что сходить не с чего". Царь засмеялся:—„Ну, положим, это хорошо сказано".

„Ваше величество, нужно ли принять какие-нибудь меры?" продолжал Родзянко:—„Я указываю здесь целый ряд мер, это искренно написано. Что-же, вы хотите во время войны потрясти страну революцией?"

— „Я сделаю то, что мне Бог на душу положит".

— „Ваше величество, вам во всяком случае, очень надо помолиться, усердно попросить Господа Бога, чтобы Он показал правый путь, потому что шаг, который вы теперь предпринимаете, может оказаться роковым".

Царь встал и сказал несколько двусмысленностей по адресу Родзянко.

„Ваше величество, сказал Родзянко, я ухожу в полном убеждении, что это мой последний доклад вам".—„Почему?"—Я полтора часа вам докладываю и по всему вижу, что вас повели на самый опасный путь... Вы хотите распустить Думу, я уже тогда не председатель, и к вам больше не приеду. Что еще хуже, я вас предупреждаю, я убежден, что не пройдет трех недель, как вспыхнет такая революция, которая сметет вас, и вы уже не будете царствовать".

— „Откуда вы это берете?"

— „Из всех обстоятельств, как они складываются. Нельзя так шутить с народным самолюбием, с народ-

ной волей, с народным самосознанием, как шутят те лица, которых вы ставите. Нельзя ставить во главу угла всяких Распутиных. Вы, государь, пожнете, то что посеяли". „Ну, Бог даст".—„Бог ничего не даст, вы и ваше правительство все испортили, революция неминуема".

На следующий день, или через день, у царя был Н. Маклаков, вызванный Протопоповым из деревни в начале февраля; Протопопов сказал Маклакову, что царь поручает ему написать проект манифеста на случай, если ему будет угодно остановиться не на перерыве, а на роспуске Думы. Маклаков составил проект, основная мысль которого заключалась в обвинении личного состава Думы: она не сделала первостепенного с точки зрения царя, не увеличила содержания чиновничеству и духовенству; в то время, когда всем надо быть воедино, идет борьба с властью. Поэтому Государственная Дума распускается и новые выборы назначаются на 15 ноября 1917 года. Манифест кончается призывом царя ко всем верным—соединиться с ним и вместе послужить России.

Этот проект Маклаков и свез царю лично, вместе со следующим письмом помеченным 9 февраля:

„Ваше Императорское Величество, Министр Внутренних Дел вчера вечером передал мне о повелении Вашего Величества написать проект манифеста о роспуске Государственной Думы. Дозвольте принести мне Вам, Государь, мою горячую верноподданнейшую благодарность за то, что Вам угодно было вспомнить обо мне. Быть Вам полезным—всегда такая радость для меня; быть Вам нужным именно в

этом деле—поистине великое счастье. Да поможет мне Господь найти надлежащие слова для выражения этого благословляемого мною взмаха Царской воли, который, как удар соборного колокола, заставит перекреститься всю верную Россию и собраться на молитву службы Родины со страхом Божиим, с верою в нее и с благоговением перед Царским призывом. Мы обсудим внимательно, со всех сторон проект манифеста с Протопоповым, и тогда позвольте мне испросить у Вашего Величества счастье лично представить его на Ваше милостивое благовоззрение. Но я теперь же дерзаю высказать свое глубокое убеждение в том, что надо, не теряя ни минуты, крепко обдумать весь план дальнейших действий правительственной власти для того, чтобы встретить все временные осложнения, на которые Дума и союзы несомненно толкнут часть населения в связи с роспуском Государственной Думы, подготовленным, уверенным в себе, спокойным и неколеблющимся. Это должно быть делом всего Совета Министров, и Министра Внутренних Дел нельзя оставить одного в одиночестве со всей той Россией, которая сбита с толку. Власть более, чем когда-либо, должна быть сосредоточена, убеждена, скована единой целью восстановить государственный порядок, чего бы то ни стоило, и быть уверенной в победе над внутренним врагом, который давно становится и опаснее и ожесточеннее и наглее врага внешнего. „Смелым Бог владеет", Государь. Да благословит Господь Вашу решимость и да направит Он Ваши шаги на счастье России и Вашей славе. Вашего Императорского Величества верноподданный Н. Ма-

клаков“.—Царь, торопившийся куда то, велел Маклакову оставить письмо и сказал, что посмотрит.

Между тем, у Голицына, по обычаю, укоренившемуся с Горемыкинских времен, были уже заранее заготовлены и подписаны царем указы Сенату, как о перерыве, так и о роспуске Думы. Текст указа о роспуске был следующий.

„На основании статьи 105 Основных Государственных Законов повелеваем: Государственную Думу распустить с назначением времени созыва вновь избранной Думы на (пропуск числа, месяца и года).

О времени производства новых выборов в Государственную Думу последуют от нас особые указания.

Правительствующий Сенат не оставит учинить к исполнению сего надлежащее распоряжение.

Николай“.

Этот указ был испрошен еще Штюрмером перед 1 ноября; потом он был в руках у Трепова и, наконец, перешел к Голицыну, которому царь сказал: „Держите у себя, а когда нужно будет, используйте“. Голицын перед 14 февраля показывал бланк Ладыженскому, который, по его словам, убедил Голицына, что это будет нарушением основных законов, с чем Голицын согласился.

14 февраля открылись заседания Государственной Думы. Родзянко указал накануне, в беседе с журналистами, на вред уличных выступлений и на „патриотическое“ настроение рабочих. В заседании, где присутствовал Голицын, Риттих, Шаховской, Кри-

гер-Войновский и союзные послы, обширное разъяснение дал Риттих, рассмотрение его разъяснений было отложено; большие речи по общей политике произнесли Чхеидзе, Пуришкевич и Ефремов. Газеты констатировали, что первый день Думы кажется бледным, сравнительно с общим настроением страны.

Открытие Государственного Совета ознаменовалось инцидентом: Щегловитов не дал Д. Д. Гримму сделать внеочередное заявление, после чего зал заседания покинула вся левая группа, часть группы центра и некоторые беспартийные.

Обыватели несколько опасались с утра выходить на улицу, но в центре города день прошел спокойно. По донесению охранного отделения, бастовало 58 предприятий—с 89.576 рабочими, были отдельные выступления (на Петергофском шоссе—с красными флагами), попытки собраться у Таврического Дворца, подавленные полицией, и сходки в университете и политехникуме.

15 февраля в заседании Государственной Думы произнесли по общей политике речи Милюков и Керенский. „Кто-то из министров или служащих канцелярии“ доложил кн. Голицыну, что речь Керенского чуть ли не призывала к цареубийству. Голицын попросил у Родзянки нецензурованную стенограмму речи, в чем Родзянко ему отказал. Председатель Совета Министров, по его словам, не настаивал, и „был очень рад“, что Керенский не произнес слова о цареубийстве, ибо „в противном случае он счел бы своим долгом передать депутата судебной власти“.

В этот день бастовало только 20 предприятий с 24.840 рабочими, на Московском шоссе появлялся красный флаг, и в университет, где была сходка, вводили полицию. В следующие дни забастовки пошли на убыль, и до 23 февраля были только отдельные невыходы на работу и предъявление требований со стороны рабочих.

III.

Переворот.

Последовательный ход событий с начала революции (23 февраля) до отречения Михаила Александровича (3 марта)—в Петербурге, Царском Селе, Могилеве (Ставке), Москве, по пути следования императорского поезда из Могилева в Псков и поезда с отрядом генерала Иванова из Могилева в Царское Село и обратно, и в Пскове.

22 февраля в среду царь выехал из Царского Села в Ставку, в Могилев. „Этот отъезд, пишет Дубенский, был неожиданный; многие думали, что государь не оставит императрицу в эти тревожные дни. Вчера прибывший из Ялты генерал Спиридович говорил, что слухи идут о намерении убить Вырубову и даже Александру Федоровну, что ничего не делается, дабы изменить настроение в царской семье, и эти слова верны".

Разговоры об ответственном министерстве уже были; Дубенский предполагает, что произошло нечто, и царь вызвал Алексеева. Царь уехал с тем, чтобы вернуться 1 марта.

В четверг, 23 февраля, в Петербурге начались волнения. В разных частях города народ собирался с криками „хлеба". Появились красные знамена с

революционными надписями. Бастовало от 43 до 50 предприятий, т.-е. от 78.500 до 87.500 рабочих. За порядком следила еще полиция, но вызывались уже и воинские наряды.

Протопопов просил Хабалова выпустить воззвание к населению о том, что хлеба хватит.

Хабалов пригласил пекарей и сказал им, что волнения вызваны не столько недостатком хлеба, сколько провокацией; последний вывод он сделал из донесения охранного отделения об аресте рабочей группы.

Запасы города и уполномоченного достигали 500.000 пудов ржаной и пшеничной муки, чего, при желательном отпуске в 40.000 пудов, хватило бы дней на 10—12. Хабалов потребовал от Вейса, чтобы он увеличил отпуск муки. Вейс возражал, что надо быть осторожным, и доложил, что лично видел достаточные запасы муки в пяти лавках на Сампсониевском проспекте. Генерал для поручений Перцов, посланный Хабаловым, доложил, что и в лавках на Гороховой мука есть.

В заседании Государственной Думы из членов правительства присутствовали Риттих и Рейн. Впервые появился депутат Марков 2-й. Происходили прения по продовольственному вопросу, председатель огласил письмо Рейна о снятии им законопроекта об образовании ведомства государственного здравоохранения. Социал-демократы и трудовики внесли запрос о расчете рабочих на некоторых заводах.

День в Могилеве прошел спокойно.

В пятницу, 24 февраля, появилось объявление Хабалова: „За последние дни отпуск муки в пекарни для выпечки хлеба в Петрограде производится в том

же количестве, как и прежде. Недостатка хлеба в продаже не должно быть. Если же в некоторых лавках хлеба, иным, не хватило, то потому, что многие, опасаясь недостатка хлеба, покупали его в запас на сухари. Ржаная мука имеется в Петрограде в достаточном количестве. Подвоз этой муки идет непрерывно".

По словам Балка, с 11 час. дня все распорядительные функции по подавлению беспорядков перешли к Хабалову и начальникам районов, которым подчинялась вся полиция.

К Хабалову явилась депутация от мелких пекарен с жалобами на то, что из-за объявления, на них валят, будто они прячут муку; у них же мало муки, и рабочие забраны на военную службу. Хабалов приказал немедленно переслать их прошение о 1.500 рабочих в отдел главного управления генерального штаба по отсрочкам.

После этого к Хабалову явилась депутация от общества фабрикантов; они просили увеличить отпуск муки для фабрик и дать муку от интендантства. Окружной интендант на запрос Хабалова сказал, что у него на довольствии 180.000 нижних чинов но уделил для фабрик до 3.000 п.

В городе бастовало уже от 158.500 до 197.000 рабочих. Толпы народа, втечение всего дня, усиленно разгонялись полицией, пехотными и кавалерийскими частями. На мостах стояли заставы, толпа с Выборгской стороны шла по льду. Беляев посоветовал Хабалову стрелять по переходящим Неву, но так, чтобы пули ложились впереди них. Хабалов не отдал такого приказа, считая его бесцельным,

Однако, были отдельные случаи стрельбы. Между прочим, в 3 часа дня на Знаменскую площадь прорвалась толпа, впереди которой ехало до полусотни казаков рассыпным строем. 15 конных городовых были прогнаны визгом, свистом, поленьями, камнями и осколками льда; начался митинг у памятника Александру III. Среди криков „да здравствует республика", „долой полицию", раздавалось „ура" по адресу присутствовавших казаков, которые отвечали народу поклонами.

Родзянко объехал утром город вместе с Риттихом, посетил Голицына и Беляева, которого просил организовать совещание для передачи продовольствия городу.

В заседании Государственной Думы, где продолжались прения о продовольствии, настроение было тревожное. В перерыве происходило совещание совета старейшин.

Хабалов созвал у себя в квартире совещание, на котором присутствовали городской голова Лелянов, его товарищ Демкин, уполномоченный по Петербургу Вейс, градоначальник Балк, командующий войсками полковник Павленков, начальник охранного отделения Глобачев и жандармского отделения Клыков, а также, кажется, Протопопов и Васильев. Обсуждали вопрос о мерах к прекращению беспорядков. Решили, во-первых, следить за более правильным распределением муки по пекарням, причем Хабалов предложил Лелянову возложить эту обязанность на городские попечительства о бедных и на торговые и санитарные попечительства; во-вторых, решили в ночь на 25-е произвести обыски и арестовать уже намеченных

охранным отделением революционеров, причем Глобачев указал, что назначено собрание в бывшем помещении рабочей группы; в-третьих, решили вызвать запасную кавалерийскую часть в помощь казакам первого Донского полка, которые вяло разгоняли толпу; у них не оказывалось нагаек; несмотря на то, что 23-го и 24-го было избито уже 28 полицейских, Хабалов не хотел прибегать к стрельбе.

В 1 час дня Голицын выехал в заседание Совета Министров, как обыкновенно, по Караванной, и ничего не заметил на улицах. Заседание было деловое, о беспорядках никто не говорил. В 6 часов вечера возвратиться на Моховую тем же путем было уже нельзя, и Голицын поехал кругом.

В экстренном совещании в Мариинском Дворце, при участии председателей Государственной Думы, Государственного Совета и Совета Министров, решено передать продовольственное дело городскому управлению.

Председатель военно-цензурной комиссии генерал Адабаш написал доклад Беляеву о том, что, по приказанию Хабалова, им сделано распоряжение не допускать в газеты речей Родичева, Чхеидзе и Керенского, произнесенных в Государственной Думе 24 февраля. Беляев положил на доклад резолюцию: „Печатать в газетах речи депутатов Родичева, Чхеидзе и Керенского завтра нельзя. Но прошу не допускать белых мест в газетах, а равно и каких-либо заметок по поводу этих речей".

Дубенский записывал в Ставке: „Тихая жизнь началась здесь. Все будет по-старому. От Него (от царя) ничего не будет. Могут быть только случай-

ные, внешние причины, кои заставят что-либо измениться... В Петрограде были голодные беспорядки, рабочие Патронного завода вышли на Литейный и двинулись к Невскому, но были разогнаны казаками".

Далее записано, что получены сведения о том, что Алексей, Ольга и Татьяна болели корью, и что царя беспокоит доставка продовольствия на фронт: „в некоторых местах продовольствия получено на три дня. К тому же, получились заносы у Казатина и продвинуть поезда сейчас невозможно".

В Царском Селе заболели корью царские дети и Вырубова. Тем не менее, императрица принимала во дворце послов и посланников.

В субботу, 25 февраля, Хабалов объявил, что, если со вторника, 28 февраля, рабочие не приступят к работам, то все новобранцы досрочных призывов 1917, 1918, и 1919 годов, пользующиеся отсрочками, будут призваны в войска; утренние газеты вышли не все, вечерние вовсе не вышли.

Был убит пристав; ранены полицмейстер и несколько других полицейских чинов. В жандармов бросали ручные гранаты, петарды и бутылки. Войска проявляли пассивность, а иногда и нетерпимость в отношении действий полиции. Бастовало до 240.000 рабочих. В высших учебных заведениях были сходки и забастовки.

В девятом часу вечера у часовни Гостиного Двора стреляли из револьвера в кавалерийский отряд, который спешился и открыл огонь по толпе, при чем оказались убитые и раненые. В этот день военный министр все еще рекомендовал Хабалову избегать, где можно, открытия огня, говоря: „Ужасное впечат-

ление произведет на наших союзников, когда разойдется толпа, и на Невском будут трупы".

Хабалов и Павленков провели весь день в квартире градоначальника. В 4 часа 40 минут Хабалов послал в Ставку Наштаверху секретную шифрованную телеграмму (№ 2813-486): „Доношу, что 23 и 24 февраля вследствие недостатка хлеба на многих заводах возникла забастовка. 24 февраля бастовало около 200 тысяч рабочих, которые насильственно снимали работавших. Движение трамвая рабочими было прекращено. В середине дня 23 и 24 февраля часть рабочих прорвалась к Невскому, откуда была разогнана. Насильственные действия выразились разбитием стекол в нескольких лавках и трамваях. Оружие войсками не употреблялось, четыре чина полиции получили неопасные поранения. Сегодня 25 февраля попытки рабочих проникнуть на Невский успешно парализуются, прорвавшаяся часть разгоняется казаками, утром полицмейстеру выборгского района сломали руку и нанесли в голову рану тупым орудием. Около трех часов дня на Знаменской площади убит при рассеянии толпы пристав Крылов. Толпа рассеяна. В подавлении беспорядков, кроме петроградского гарнизона, принимают участие пять эскадронов 9 запасного кавалерийского полка из Красного Села, сотня лейб-гвардии сводно-казачьего полка из Павловска и вызвано в Петроград пять эскадронов гвардейского запасного кавалерийского полка. Хабалов".

Протопопов со своей стороны телеграфировал Воейкову: „Внезапно распространившиеся в Петрограде слухи о предстоящем якобы ограничении суточ-

ного отпуска выпекаемого хлеба взрослым по фунту, малолетним половинном размере, вызвали усиленную закупку публикой хлеба, очевидно, в запас, почему части населения хлеба не хватило. На этой почве двадцать третьего февраля вспыхнула в столице забастовка, сопровождающаяся уличными беспорядками. Первый день бастовало около 90 тысяч рабочих,—второй—до 160 тысяч, сегодня около 200 тысяч. Уличные беспорядки выражаются в демонстративных шествиях частью с красными флагами, разгроме некоторых пунктах лавок, частичным прекращением забастовщиками трамвайного движения, столкновениях полицией. 23 февраля ранены 2 помощника пристава, сегодня утром на Выборгской стороне толпой снят с лошади и избит полицмейстер полковник Шалфеев, в виду чего полицией произведено несколько выстрелов в направлении толпы, откуда последовали ответные выстрелы. Сегодня днем более серьезные беспорядки происходили около памятника Императору Александру III, на Знаменской площади, где убит пристав Крылов. Движение носит неорганизованный стихийный характер, наряду с эксцессами противоправительственного свойства буйствующие местами приветствуют войска. Прекращению дальнейших беспорядков принимаются энергичные меры военным начальством. Москве спокойно М. В. Д. Протопопов".

Около 9 часов вечера Хабалов получил напечатанную на юзе и переданную по прямому проводу в генеральный штаб телеграмму: „Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией. Николай".

Часов в 10 собрались начальники участков, командиры запасных частей, которым Хабалов прочел телеграмму и сказал, что должно быть применено последнее средство: если толпа агрессивна, действовать по уставу, т.-е., открывать огонь после троекратного сигнала; в остальных случаях—продолжать действовать кавалерией.

Хабалова царская телеграмма „хватила обухом". Он так расстроился, что когда вечером к нему позвонил Лелянов, он сказал ему: „Вы выдумали какой-то незаконный проект, совершенно несогласный с городским положением, я не могу на это согласиться". Дело в том, что заезжавший днем Протопопов сообщил, что „город выдумал какой то революционный проект с продовольствием".

Весь день происходили заседания думских фракций, комиссий, бюро блока, центрального бюро военно-промышленного комитета.

Вечернее заседание Городской Думы, где рассматривался вопрос о введении хлебных карточек, по докладу охранного отделения, „вскоре приняло характер памятных по 1905 году революционных митингов". На собрании говорили сенатор Иванов, члены Государственной Думы Шингарев и Керенский, представители рабочих; ждали Родзянко, но он не мог приехать, будучи занят в Государственной Думе, где разбирался законопроект о расширении прав городских самоуправлений в области продовольствия.

В ночь на 26 февраля „было арестовано около 100 членов революционных организаций, в том числе 5 членов Петроградского Комитета Российской Социал-Демократической Партии". На собрании в

помещении Центрального Военно-Промышленного Комитета „были арестованы два члена Рабочей Группы, избегнувшие задержания во время ликвидации в минувшем январе месяце этой преступной группы".

Родзянко был у Голицына и просил его выйти в отставку. Голицын в ответ указал папку на столе, в которой лежал указ о роспуске Думы, и просил устроить совещание лидеров фракций, чтобы столковаться.

В 12 часов ночи началось совещание министров в квартире Голицына. Речь шла о том, что в понедельник в Государственной Думе предполагается ряд выступлений, которые могут заставить правительство закрыть Думу. Риттих говорил о том, что Кабинет не может поладить с Думой, потому что Дума не хочет ладить с ним. Покровский говорил, что с Думой работать нужно, и ее требования должны быть приняты. Оба министра, а также Кригер-Войновский, в разных выражениях говорили о том, что Кабинету придется уйти. Все, кроме Протопопова, Добровольского и Раева, были против роспуска Думы. Протопопов рассказывал об уличных событиях и находил, что беспорядки следует прекратить вооруженной силой. Приглашенный на совещание Хабалов доложил о событиях дня, о принятых им мерах, о плане охраны города и о полученной им от царя телеграмме. Беляев, Добровольский и Риттих высказались, что беспорядкам должна быть противопоставлена сила. Тут же, по телефону из Городской Думы, узнали, что отдано распоряжение об аресте Рабочей Группы, причем все удивились, почему Протопопов в такую минуту не справился

с мнением Совета Министров. Вызванные Васильев и Глобачев объяснили, что полиция застала публичное собрание человек в 50, задержала всех для выяснения личности и арестовала только двух, уже привлеченных к следствию по 102 статье.

В этом совещании уже поднимался вопрос о введении осадного положения. Хабалов протестовал на том основании, что, по последнему положению командующий войсками округа пользовался правами командующего армией, равными правам командира осажденной крепости. Некоторые из министров настаивали на введении осадного положения потому что, с объявлением его, прекращаются все собрания, в том числе и заседания Государственной Думы, и даже ее комиссий. Покровский возражал, что это— вопрос спорный.

Решено было просить председателя и членов Думы употребить свой престиж для успокоения толпы; решено, что Родзянко поедет к Голицыну, а Покровский и Риттих войдут в переговоры с некоторыми лидерами партий (называли Милюкова и Савича).

Голицын указал, что в стремлениях на пути к соглашению не следует забывать того, что некоторые министры должны будут собой пожертвовать; он намекал на Протопопова. Хабалов произвел на Голицына впечатление „очень не энергичного и мало сведущего тяжелодума", а доклад его показался Голицыну „сумбуром". В этот вечер он просил у Хабалова охраны и впоследствии жаловался на то, что не видел ее, хотя Хабалов послал роту, которая „закупорила Моховую".

Министры разошлись в 4 часа ночи, решив опять сойтись в воскресенье в 8½ часов. Журналов совещаний в эти дни не велось, хотя на всех совещаниях присутствовал Ладыженский.

Жизнь Ставки текла попрежнему однообразно: в 9½ часов царь выходил в штаб, до 12½ проводил время с Алексеевым, после этого час продолжался завтрак, потом была прогулка на моторах, в 5 часов пили чай и приходила петербургская почта, которой царь занимался до обеда в 7½ часов.

Вероятно, в этот день между 5 и 7 часами, в виду тревожных слухов от приезжающих из Петербурга („Астория занята", и т. д.) к царю „прибегал" Алексеев. Кроме того, царь получил две телеграммы от Александры Федоровны. В одной говорилось, что в „городе пока спокойно", а в вечерней уже, что „совсем нехорошо в городе".

После обеда с 8½ часов царь занимался у себя в кабинете, а в 11½ пили вечерний чай, и царь с лицами ближайшей свиты уходил к себе.

Дубенский записал в дневнике 25-го: „Из Петрограда—тревожные сведения; голодные рабочие требуют хлеба, их разгоняют казаки; забастовали фабрики и заводы; Государственная Дума заседает очень шумно; социал-демократы Керенский и Скобелев взывают к ниспровержению самодержавной власти, а власти нет. Вопрос о продовольствии стоит очень плохо..., оттого и являются голодные бунты. Плохо очень с топливом..., поэтому становятся заводы, даже те, которые работают на оборону. Государь, как будто, встревожен, хотя сегодня по виду был весел. Эти дни он ходит в казачьей

кавказской форме, вечером был у всенощной и шел туда и обратно без пальто".

В воскресенье, 26 февраля, войска, как обыкновенно, заняли все посты, положенные по росписанию; Хабалов объявил, что для водворения порядка войска прибегнут к оружию (все министры накануне согласились на такое объявление).

В этот день войскам пришлось стрелять в народ в разных местах, и холостыми, и боевыми патронами.

В донесениях за день отмечено: „промышленные предприятия сего числа, по случаю праздничного дня, были закрыты". „Во время беспорядков наблюдалось, как общее явление, крайне вызывающее отношение буйствовавших скопищ к воинским нарядам, в которые толпа, в ответ на предложение разойтись, бросала каменьями и комьями сколотого с улиц льда. При предварительной стрельбе войсками вверх, толпа не только не рассеивалась, но подобные залпы встречала смехом. Лишь по применении стрельбы боевыми патронами в гущу толпы оказывалось возможным рассеивать скопища, участники коих, однако, в большинстве прятались во дворы ближайших домов и, по прекращении стрельбы, вновь выходили на улицу".

Вечером, охранное отделение предполагало арестовать собрание, которое должно было быть в доме Елисеева на Невском „с участием членов Государственной Думы Керенского и присяжного поверенного Соколова, для обсуждения вопроса о наилучшем использовании в революционных целях возникших беспорядков и дальнейшем планомерном руководительстве таковыми".

Родзянко утром поехал к Риттиху, вытащил его из кровати и повез к Беляеву. Он видел, как рабочие шли лавой по льду через Неву, так как на мосты их не пускали.

Родзянко обратился по телефону к Хабалову, который сидел в здании градоначальства, уже не делая никаких распоряжений о раздаче хлеба; Родзянко спрашивал его, „зачем кровь", и убеждал, что гранату на Невском бросил городовой. Хабалов сказал, что войска не могут быть мишенью и должны отвечать на нападение, но на высочайшую телеграмму не сослался.

Родзянко звонил также к Беляеву, советуя ему рассредоточивать толпу при помощи пожарных. Беляев снесся с Хабаловым, который ответил, что существует распоряжение ни в каком случае не вызывать пожарные части для прекращения беспорядков, и что обливание водой только возбуждает, т.-е. приводит к обратному действию.

Родзянко телеграфировал царю: „Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общественное недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца".

Копии этой телеграммы были разосланы командующим с просьбою поддержать перед царем обра-

щение председателя Думы. Ответили Брусилов: „Вашу телеграмму получил. Свой долг перед родиной и царем исполнил"—и Рузский: „Телеграмму получил. Поручение исполнено".

Царь, по рассказу Фредерикса, получив эту телеграмму, или следующую за ней (от 27 февраля), сказал Фредериксу: „Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать".

Хабалов телеграфировал Наштаверху в Ставку (№ 2899—3713): „Доношу, что втечение второй половины 25 февраля толпы рабочих, собиравшиеся на Знаменской площади и у Казанского Собора, были неоднократно разгоняемы полицией и воинскими чинами. Около 17 часов у Гостиного Двора демонстранты запели революционные песни и выкинули красные флаги с надписями долой войну, на предупреждение, что против них будет применено оружие, из толпы раздалось несколько револьверных выстрелов, одним из коих был ранен в голову рядовой 9 запасного кавалерийского полка. Взвод драгун спешился и открыл огонь по толпе, причем убито трое и ранено десять человек. Толпа мгновенно рассеялась. Около 18 часов в наряд конных жандармов была брошена граната, которой ранен один жандарм и лошадь. Вечер прошел относительно спокойно. 25 февраля бастовало двести сорок тысяч рабочих. Мною выпущено объявление, воспрещающее скопление народа на улицах и подтверждающее населению, что всякое проявление беспорядка будет подавляться силою оружия. Сегодня 26 февраля с утра в городе спокойно. Хабалов".

Около 4-х часов дня Хабалову доложили, что четвертая рота запасного батальона Павловского полка, расквартированная в зданиях конюшенного ведомства, выбежала с криками на площадь, стреляя в воздух около храма Воскресения, и при ней находятся только два офицера; рота требовала увода в казармы остальных и прекращения стрельбы, а сама стреляла по взводу конно-полицейской стражи.

Хабалов приказал командиру батальона и полковому священнику принять меры к увещанию, устыдить роту, привести ее к присяге на верность и водворить в казармы, отобрав оружие. После увещаний батальонного командира, солдаты действительно помаленьку сдали винтовки, но 21 человека с винтовками не досчитались.

Беляев потребовал немедленно военно-полевого суда, но прокурор военно-окружного суда Мендель посоветовал Хабалову сначала произвести дознание. Хабалов приказал, чтобы сам батальон выдал зачинщиков и назначил следственную комиссию из пяти членов с генералом Хлебниковым во главе. Батальонное начальство выдало 19 главных виновников, которых и препроводили в крепость, как подлежащих суду, так как комендант крепости Николаев сообщил, что арестных помещений для всей роты (1500 человек) у него нет.

Среди этого „котла“ событий, по выражению Хабалова, он несколько раз доносил в Ставку, что беспорядки продолжаются и приказаний его величества он выполнить не может. Ночью стали поступать тревожные сведения о восстаниях в других войсковых частях, но они пока не оправдывались.

Протопопов телеграфировал Воейкову: „Сегодня порядок в городе не нарушался до четырех часов дня, когда на Невском проспекте стала накапливаться толпа, неподчинявшаяся требованию разойтись. Ввиду сего возле Городской Думы войсками были произведены три залпа холостыми патронами, после чего образовавшееся там сборище рассеялось. Одновременно значительные скопища образовались на Лиговской улице, Знаменской площади, также на пересечениях Невского Владимирским проспектом и Садовой улицей, причем во всех этих пунктах толпа вела себя вызывающе, бросая в войска каменьями, комьями сколотого на улицах льда. Поэтому, когда стрельба вверх не оказала воздействия на толпу, вызвав лишь насмешки над войсками, последние вынуждены были для прекращения буйства прибегнуть к стрельбе боевыми патронами по толпе, в результате чего оказались убитые, раненые, большую часть коих толпа, рассеиваясь, уносила с собой. Начале пятого часа Невский был очищен, но отдельные участники беспорядков, укрываясь за угловыми домами, продолжали обстреливать воинские разъезды. Войска действовали ревностно, исключение составляет самостоятельный выход четвертой эвакуированной роты Павловского полка. Охранным отделением арестованы запрещенном собрании 30 посторонних лиц в помещении Группы Центрального Военного Комитета и 136 человек партийных деятелей, а также революционный руководящий коллектив из пяти лиц. Моему соглашению командующим войсками контроль распределением выпечкою хлеба также учетом использования муки возлагается на заведующего

продовольствием Империи Ковалевского. Надеюсь будет польза. Поступили сведения, что 27 февраля часть рабочих намеревается приступить к работам. Москве спокойно. М. В. Протопопов".

Эта телеграмма была послана 27 февраля в 4 часа 20 минут утра.

Вечером на частном совещании у Голицына, были приняты две меры: перерыв заседаний Государственной Думы и введение осадного положения в Петербурге (форма последнего распоряжения не обсуждалась).

Родзянко вечером нашел у себя в квартире следующий указ, уже отпечатанный: „На основании статьи 99 Основных Государственных Законов, повелеваем: занятия Государственной Думы прервать с 26-го февраля сего года и назначить срок их возобновления не позднее апреля 1917 года, в зависимости от чрезвычайных обстоятельств. Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего учинить надлежащее распоряжение". Таким же указом были прерваны и занятия Государственного Совета.

Александра Федоровна заканчивала свою телеграмму, посланную царю в 11 часов 50 минут дня, словами: „Очень беспокоюсь относительно города".

В Могилеве свита была в тревоге, за завтраком было мало приглашенных, и царь, всегда любезный, видимо, сдерживался и мало говорил. Воейков, однако, спокойно дал коменданту императорского поезда, полковнику Герарди, отпуск на несколько дней в Царское Село. Дубенский записал в своем дневнике 26 февраля: „Волнения в Петрограде очень большие, бастуют двести тысяч рабочих, не ходят трам-

ваи, убит пристав на Знаменской площади. Собралось экстренное заседание в Мариинском дворце... Государственная Дума волнуется, требуя передачи продовольственного дела во всей России городскому самоуправлению и земству. Князь Голицын и все министры согласны. Таким образом, вся Россия узнает, что голодный народ будет накормлен распоряжением не царской власти, не царского правительства, а общественными организациями, т.-е., правительство совершенно расписалось в своем бессилии. Как не может понять государь, что он должен проявить свою волю, свою власть?... Какая это поддержка нашим врагам — Вильгельму — беспорядки в Петрограде! Какая радость теперь в Берлине! А при государе все то же, многие понимают ужас положения, но не „тревожат" царя".

В понедельник 27 февраля утром Родзянко послал царю телеграмму: „Положение ухудшается. Надо принять немедленно меры, ибо завтра будет уже поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии".

Часов в 7 утра командир запасного батальона Волынского полка передал Хабалову по телефону, что учебная команда отказалась выходить, а начальник ее или убит, или сам застрелился перед фронтом.

Хабалов, предписав обезоружить и вернуть команду в казармы, сообщил об этом Беляеву и поехал в дом градоначальства. Втечение двух часов, полковник Московского полка Михайличенко заменял полковника Павленкова, больного грудной жабой. В это утро, в канцелярию градоначальника являлся капи-

тан броневой роты, который предлагал Хабалову составить 1—2 автомобиля из нескольких, находящихся в починке на Путиловском заводе. Хабалов послал его к заведующему броневиками генералу Секретеву и велел прислать автомобиль, если найдутся надежные офицеры, которых можно туда посадить.

Поступили донесения, что Волынцы не сдают винтовок, к ним присоединнется рота Преображенского полка и часть Литовцев, и эта вооруженная толпа, соединившись с рабочими, идет по Кирочной, разгромила казармы жандармского дивизиона и громит помещение школы прапорщиков инженерных войск.

Хабалов сформировал отряд из 6 рот, 15 пулеметов и 1½ эскадронов, всего около 1000 человек, и отправил его против восставших под начальством георгиевского кавалера полковника Кутепова с требованием, чтобы они сложили оружие; в противном случае, было предложено принять решительные меры.

Отряд двинут, а результатов нет: если он действует, он должен уже гнать толпу в угол за Таврический сад, к Неве. „А тут—ни да, ни нет", говорит Хабалов.

Казачьи разъезды донесли, что Кутепов не может продвинуться по Кирочной и Спасской и требует подкреплений.

Бранд-майор Литвинов донес по телефону, что толпа не дает пожарным тушить здание Окружного Суда. Около полудня из Московского полка донесли, что четвертая рота, запиравшая пулеметами Литейный мост с Выборгской стороны, подавлена, осталь-

ные роты стоят во дворе казарм, из офицеров—кто убит, а кто—ранен, и огромные толпы запружают Сампсониевский проспект.

Запасных войск у Хабалова не было, а наряду с донесениями поступали требования охраны от Голицына, с телефонной станции, из Литовского замка, из Мариинского дворца. Заезжал Протопопов и приставал к Хабалову с разными предложениями, по обыкновению, ни на чем реальном не основанными.

Часа в 2—3 Хабалов был у Голицына. Последний был уже оповещен с утра Беляевым, который в это утро приказал начальнику Генерального Штаба генералу Занкевичу доложить, что нужно для объявления осадного положения, и, получив ответ, что для этого требуется высочайшее повеление, сказал: „Считайте, что оно уже последовало". Беляев предлагал Голицыну сейчас же обсудить дальнейшие меры, но прошло довольно много времени, как приехал Хабалов, министры были в сборе; он произвел на всех тяжелое впечатление: „руки трясутся, равновесие, необходимое для управления в такую серьезную минуту, он утратил,—говорит Беляев.

В сущности, министры только знакомились с событиями, взглядов же никаких не высказывали. Все были особенно нервны. Докладывали Хабалов и кое-что Протопопов. Около 4—5 часов решили сойтись в Мариинском дорце.

Когда определилось, что пока только Выборгская и Литейная части захвачены восстанием, Хабалов решил стянуть возможный резерв на Дворцовой площади, под начальством полковника Преображенского полка князя Аргутинского-Долгорукова.

часть предполагалось послать в подкрепление Кутепову, а другую часть—на Петербургскую сторону. Хабалов, опасаясь за Пороховые заводы, хотел оттеснить восставших к северу, к морю.

Выяснилось, что резерв собрать трудно, некоторые части можно только удерживать от присоединения к восставшим, а у других нет патронов; не найдя патронов в городе, Хабалов просил по телефону прислать из Кронштадта, но комендант ответил, что сам опасается за крепость. Хабалов не знал, что и в окрестностях города вспыхнуло восстание: часов около 5-х дня царскосельский гарнизон грабил трактирные заведения, встречая маршевые эскадроны, подошедшие из Новгородской губернии, с корзинами явств и питей. Впрочем, сводный гвардейский полк нес службу и продолжал охранять Александровский дворец.

Голицын поручил Беляеву съездить в градоначальство. Тут были все „неопытные полковники", и Беляев, который, по словам Балка, был „вдумчив, спокоен и говорил мало", позвал всех на совещание и увидел „полное отсутствие идеи и недостаточность инициативы в распоряжениях". Настроение офицеров, в частности, Измайловского полка, было „ненадежное", они находили нужным вступить в переговоры с Родзянко, о чем Хабалов доложил Беляеву, которому вовсе не был подчинен, но которого в растерянности своей стал слушаться. В ответ на это, военный министр рассердился и приказал находившемуся тут же генералу Занкевичу вступить в командованье всеми гвардейскими запасными частями (это было около 7 часов вечера). Хабалов понял это

так, что он устранен. Между тем, Занкевич был дан ему в помощь и устранял собою только Чебыкина, Павленкова и Михайличенко, так же, как Иванов впоследствии не сменил Хабалова, а был поставлен над ним.

Приехавший в градоначальство великий князь Кирилл Владимирович рекомендовал Беляеву принять энергичные меры и, прежде всего, сменить Протопопова; выражал неудовольствие, что ему не сообщают о событиях и спрашивал, что ему делать с гвардейским экипажем, на что Хабалов доложил, что гвардейский экипаж ему не подчинен. Кирилл Владимирович прислал к вечеру две „наиболее надежные“ роты учебной команды Гвардейского Экипажа.

Приехав в Мариинский дворец, где все члены Совета Министров „ходили растерянные, ожидая ареста“, Беляев доложил о Занкевиче, а затем попросил Голицына поговорить с ним наедине о замене Протопопова; так как сменять министра никто, кроме императора, не имел права, решили предложить Протопопову сказаться больным; Беляев предложил заменить его главным военным прокурором Макаренко, но предложение это было отвергнуто, и генерал Тяжельников, по приказанию Беляева, отпечатал приказ Голицына: „вследствие болезни министра внутренних дел действительного статского советника Протопопова, во временное исполнение его должности вступит его товарищ по принадлежности“. Тогда же, по приказанию Беляева, было напечатано „объявление Командующего Войсками Петроградского Военного Округа“ за подписью Хабалова: „По Высочайшему повелению город Петроград с 27 сего фев-

раля объявляется на осадном положении". Объявление было напечатано в количестве около 1.000 экземпляров, подлинник был написан карандашом. Печаталось оно в Адмиралтействе, так как типография градоначальства уже не была в распоряжении старого правительства, о чем доложил Балк.

Голицын рассказывает, что он получил от Беляева письмо, начинавшееся словами: „Имею честь сообщить Вашему Сиятельству, что по Высочайшему Повелению введено осадное положение", но письмо это он потерял.

Голицын обратился к Протопопову и просил его официально заявить, что он болен и уходит. Протопопов встал, сконфуженно произнес: „Ну, что же, я подчиняюсь", и ушел, говоря: „Мне теперь остается только застрелиться". Белецкий рассказывает, что, когда, перед этим стало известно, что Щегловитов, арестованный на кухне и прикрытый солдатской шинелью, увезен в Думу, Протопопов так растерялся, что требовал моментально „схватить Родзянко".

В 6 часов вечера Лодыженский передал в экспедицию канцелярии Совета Министров составленную Покровским и Барком и подписанную Голицыным телеграмму, в которой говорилось, между прочим: „Совет Министров... дерзает представить Вашему Величеству о безотложной необходимости принятия следующих... мер... с объявлением столицы на осадном положении, каковое распоряжение уже сделано Военным Министром по уполномочию Совета Министров собственною властью. Совет Министров всеподданнейше ходатайствует о поставлении во главе

оставшихся верными войск одного из военачальников действующих армий с популярным для населения именем“...

Далее указывается, что Совет Министров не может справиться с создавшимся положением, предлагает себя распустить, назначить председателем Совета Министров лицо, пользующееся общим доверием, и составить ответственное министерство.

Царь ответил того же числа князю Голицыну: „О главном начальнике для Петрограда мною дано повеление начальнику моего штаба с указанием немедленно прибыть в столицу. Тоже и относительно войск. Лично Вам предоставляю все необходимые права по гражданскому управлению. Относительно перемены в личном составе при данных обстоятельствах считаю их недопустимыми.

Николай“.

После 8-ми часов вечера Голицын, Родзянко, великий князь Михаил Александрович, Крыжановский и Беляев обсуждали в кабинете председателя Совета Министров текст телеграммы, которую Михаил Александрович хотел послать царю, после чего великий князь и Беляев поехали в дом военного министра, чтобы передать эту телеграмму начальнику штаба верховного главнокомандующего. Михаил Александрович сообщил о „серьезности положения“, о необходимости назначить председателя Совета Министров, который сам подобрал бы себе кабинет; он спрашивал, не уполномочит ли его царь сейчас же об этом объявить, называя со своей стороны

князя Г. Е. Львова, и предлагал принять на себя регентство.

Через полчаса или через час Алексеев передал ответ, что его величество благодарит за внимание, выедет завтра и сам примет решение.

В этот день Беляев послал в Ставку Наштаверху следующие четыре телеграммы.

13 час. 15 мин. № 196. Указывается, что начавшиеся с утра в некоторых частях волнения подавляются. Выражается уверенность „в скором наступлении спокойствия".

19 час. 22 мин. № 197 (копия Главкосеву). Указывается на „серьезность положения"; просьба прислать на помощь „действительно надежные части".

19 час. 33 мин. № 198. „Совет Министров признал необходимым объявить Петроград на осадном положении. В виду проявленной генералом Хабаловым растерянности назначил на помощь ему генерала Занкевича, так как генерал Чебыкин отсутствует".

23 час. 53 мин. № 199. Говорится, что из Царского Села вызваны небольшие части запасных полков, батарея из Петрограда грузить в поезд на Петроград отказалась, батарея училищ не имеет снарядов.

Около полуночи Беляев приказал своему секретарю позвонить в Мариинский дворец и вызвать по телефону Кригер-Войновского. Секретарь услышал в телефон неясный разговор нескольких голосов, увещания соблюдать тишину и предупреждение, что у телефона военный министр. Вслед за тем, к телефону подошел кто то, назвавший себя министром путей сообщения, но по голосу непохожий на Кригер-Войновского. Секретарь предупредил об этом Беляева и

передал ему трубку. Военный министр молча слушал у телефона минут 5, услышал слова: „...эту пачку уже пересмотрел, возьми вот те бумаги", повесил трубку и запретил всем сношения по телефону с Мариинским Дворцом.

Около 2 часов ночи секретарь Беляева был вызван по телефону из Мариинского Дворца помощником управляющего делами Совета Министров Путиловым, который объяснил, что, действительно, в в помещении канцелярии Совета Министров „хозяйничают посторонние лица", важнейшие бумаги удалось унести, а министры путей сообщения и иностранных дел скрываются в другой части дворца. Путилов просил освободить их, но секретарь военного министра объяснил, что в их распоряжении нет войск.

Между тем, у генерала Занкевича, которому Беляев передал командованье, были в распоряжении уже немногие части, и то колеблющиеся и тающие с часу на час.

Вопрос об аттаке стоял безнадежно, можно было думать только об обороне отряда на Дворцовой площади.

Генерал Занкевич, надев мундир Лейб-Гвардии Павловского полка, выехал к солдатам, и поговорив с ними, вынес убеждение, что на них рассчитывать нельзя. Удержаться на площади было невозможно; Занкевич считал, что верным слугам царя надо умереть в Зимнем Дворце; около 9 часов вечера войска были переведены в Адмиралтейство, а около 11 часов — во Дворец; при этом оказалось, что матросы и часть пехоты уже разошлись; осталось всего на всего 1500—2000 человек.

Около часу ночи во Дворце получили известие о назначении генерала Иванова. Управляющий дворцом генерал Комаров просил Хабалова не занимать дворца. Занкевич спорил, и вопрос остался бы открытым, если бы заехавший в ту минуту с Беляевым великий князь Михаил Александрович, которому не удавалось уехать в Гатчину, не согласился с Комаровым. На совещании великий князь, Хабалов и Занкевич наметили Петропавловскую крепость, но помощник коменданта барон Сталь, вызванный к телефону, сообщил, что на Троицкой площади стоят броневые автомобили и орудия, а на Троицком мосту—баррикады. Хабалов предложил пробиваться, но Занкевич указал на колебания офицеров Измайловского полка; тогда, на рассвете, решили перейти опять в Адмиралтейство.

Листки с объявлением осадного положения были напечатаны, но расклеить их по городу не удалось: у Балка не было ни клею, ни кистей. По приказу Хабалова, отданному вялым тоном, два околодочных развесили несколько листков на решетке Александровского сада. Утром эти листки валялись на Адмиралтейской площади перед градоначальством.

Третье объявление, переданное Беляевым для распубликования—о запрещении жителям столицы выходить на улицу после 9 часов вечера—Хабалов счел окончательно бесцельным и оставил его без исполнения.

Императрица в этот день телеграфировала царю трижды: в 11 часов 12 минут дня: „Революция вчера приняла ужасающие размеры. Знаю, что присоединились и другие части. Известия хуже, чем когда бы

то ни было. Алис"; в 1 ч. 3 минуты: „Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Много войск перешло на сторону революции. Алис"; в 9 часов 50 минут вечера: „Лили провела у нас день и ночь—не было ни колясок, ни моторов. Окружный Суд горит. Алис".

Дубенский записывал 27 февраля: „Из Петрограда вести не лучше. Была, говорят, сильная стрельба у Казанского собора, много убитых со стороны полиции и среди народа. Говорят, по городу ходят броневые автомобили. Слухи стали столь тревожны, что решено завтра 28-го отбыть в Петроград... Помощник начальника штаба Трегубов передал мне, что на его вопрос, что делается в Петрограде, Алексеев ответил: „Петроград в восстании". Трегубов дополнил, что была стрельба по улицам, стреляли пулеметы. Первое, что надо сделать,—это убить Протопопова, он ничего не делает, шарлатан. Перед обедом я с Федоровым был в вагоне у генерал-адъютанта Иванова. Долго беседовали на тему петроградских событий и стали убеждать его сказать государю, что необходимо послать в Петроград несколько хороших полков, внушить действовать решительно, и дело можно еще потушить. Иванов начал говорить, что он не вправе сказать государю, что надо вызвать хорошие полки, например, 23-ю дивизию и т. д., но в конце концов согласился и обещал говорить с царем. Перед обедом Алексеев приходил к государю в кабинет докладывать срочное сообщение из Петрограда о том, что некоторые части, кажется, Лейб-Гвардии Павловский полк, отказались действовать против толпы. На вопрос графа Фредерикса Алек-

сееву,—что нового из Петрограда, начальник штаба ответил: „Плохие вести, есть новое явление“, намекал на войска. За обедом, который прошел тихо, и государь был молчалив, Иванов всетаки успел сказать государю о войсках“.

„После обеда государь позвал к себе Иванова в кабинет и около 9 часов стало известно, что Иванов экстренным поездом едет в Петроград. Нарышкин мне сказал, что павловцев окружили преображенцы и, кажется, стало тише. Все настроение ставки сразу изменилось. Все говорят, волнуются, спрашивают: что нового из Петрограда“.

„В вечерних телеграммах стало известно, что именным высочайшим указом распущены Дума и Государственный Совет, но это уже поздно, уже определилось временное правительство, заседающее в Думе, под охраной войск, перешедших на сторону революционеров. Войск верных государю осталось меньше, чем против него. Гвардейский Литовский полк убил командира. Преображенцы убили батальонного командира Богдановича. Председатель Государственной Думы прислал в Ставку государю телеграмму, в которой просил его прибыть немедленно в Царское Село, спасать Россию. Все эти страшные сведения идут из Петрограда от графа Бенкендорфа полковнику Ратькову. Про министра внутренних дел граф Фредерикс выразился по-французски так: „А о министре внутренних дел нет слухов, как будто он мертвый“. Граф Фредерикс держит себя спокойно, хорошо, и говорит: „Не надо волноваться“.

„После вечернего чая, в 12 часов ночи, государь простился со всеми и ушел к себе. Вслед за ним к

нему пошел Фредерикс и Воейков, пробыли у царя недолго и вышли, причем Воейков объявил, что отъезд в Царское Село его величества назначен безотлагательно в эту ночь. Все стали собираться и уже к 2 часам ночи были в поезде. Государь любезен, ласков, тих и, видимо, волнуется, хотя, как всегда, все скрывает. Всю ночь шли у нас с Цабелем, Штакельбергом и Сусловым такие разговоры. Свитский поезд отошел в Царское в 4 часа ночи... Назначен Иванов диктатором".

В Ставке до сего дня полагали, что происходит „голодный бунт", в революцию не верили и к слухам относились пассивно, чему способствовал крайний „фатализм" царя, как выражается генерал Дубенский. Алексеев умолял царя в эти дни пойти на уступки, но из этого вышло только то, что уехали немного раньше, чем предполагали.

Во всяком случае, настроение Ставки резко изменилось к вечеру 27 февраля. Воейков, который балаганил, устраивал свою квартиру и до 5 часов дня „прибивал шторки и привешивал картинки", вдруг понял трагичность положения и „стал ходить красный, таращa глаза". Генерал Иванов, придя к обеду, узнал от Алексеева, что он назначен в Петербург главнокомандующим „для водворения полного порядка в столице и ее окрестностях", причем „командующий войсками округа переходит в его подчинение" (на бланке Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего, управление Дежурного генерала, № 3716, подписали генерал Алексеев и дежурный генерал Кондзеровский). Назначение это последовало вследствие указания бывшего Председателя

Совета Министров князя Голицына на необходимость командировать в столицу пользующегося популярностью в войсках боевого генерала.

Иванов, слывший за „поклонника мягких действий", за обедом рассказал царю, как ему удалось успокоить волнения в Харбине при помощи двух полков без одного выстрела. После обеда царь сказал Иванову: „Я вас назначаю главнокомандующим петроградским округом, там в запасных батальонах беспорядки и заводы бастуют, отправляйтесь". Иванов доложил, что он уже год стоит в стороне от армии, но полагает, что „далеко не все части останутся верны в случае народного волнения, и что потому лучше не вводить войска в город, пока положение не выяснится, чтобы избежать „междоусобицы и кровопролития".

Царь ответил: „Да, конечно".

После этого разговора, Иванов просидел в Штабе часа два, частью—с Алексеевым, которого вызывал царь, а потом—по прямому проводу—Родзянко. Алексеев сказал ему, что с северного фронта и с западного посылаются по два полка, но еще сомневаются, какие посылать; посоветовал отправиться с батальоном и ротой сводного полка и показал телеграмму от Родзянки и телеграмму об объявлении осадного положения.

Иванов знал, что распущена Дума, введено осадное положение, не хватает продовольствия и многие заводы не работают на оборону из-за недостатка топлива. Решив утром пойти к царю, а около полудня ехать, он пошел спать.

В это время Воейкова вызвал по телеграфу из Царского Бенкендорф и спрашивал, не желает ли

его величество, чтобы Императрица с детьми выехала навстречу; царь поручил передать, чтобы ни в каком случае не выезжали, и что он сам приедет в Царское.

Воейков, по совету Бенкендорфа, вызвал Беляева, который дал ему „хаотический ответ“, что „идет военный мятеж и нельзя определить, какая часть восстала и какая нет“. Воейков считал, что должен иметь все эти сведения от Протопопова, но не получал их. В 8 час. 15 минут он послал Протопопову следующую шифрованную телеграмму (№ 35); „Его Величество изволит отбыть из Ставки через Оршу—Лихославль—Тосно вторник 28 февраля 2 часа 30 мин. дня и прибыть Царское Село среду 1 марта 3 час. 30 мин. дня“.

Дубенский рассказывает в своем дневнике (от 3 марта) что „27 февраля вечером было экстренное заседание под председательством государя, Алексеева, Фредерикса и Воейкова. Алексеев, ввиду полученных известий из Петрограда, умолял государя согласиться на требование Родзянко дать конституцию, Фредерикс молчал, а Воейков настоял на непринятии этого предложения и убеждал государя немедленно выехать в Царское Село“.

Около 2 часов ночи адъютант разбудил Иванова и сообщил, что царь сейчас уезжает. Царь принял Иванова около 3 часов ночи. Иванов доложил о продовольствии и просил содействия, памятуя сентябрь 1914 года, когда жалобы его на отсутствие снарядов вызвали неудовольствие даже в Ставке. Несмотря на то, что Иванов просил полномочий относительно только 4 министров (внутренних дел, земледелия,

промышленности и путей сообщения), царь сказал: „Пожалуйста, передайте генералу Алексееву, чтобы он телеграфировал председателю Совета Министров, чтобы все требования генерала Иванова всеми министрами исполнялись беспрекословно“. (Однако, полномочия эти Иванов считал впоследствии отпавшими, так как от Алексеева он не получил подтверждения подобного приказа царя).—„До свиданья, сказал царь, вероятно, в Царском Селе увидимся“. „Ваше величество, сказал Иванов, позвольте напомнить относительно реформ“. „Да, да, ответил царь, мне только что напоминал об этом генерал Алексеев“.

При этом, царь произнес слова „ответственное министерство“ и „министерство доверия“, так что Иванов считал дело решенным и конфиденциально говорил об этом своему адъютанту, полковнику Кринскому и Ладыженскому (начальнику канцелярии по гражданскому управлению Штаба Верховного Главнокомандующего). Иванов решил, что высадится утром 1 марта в Царском. Он послал коменданту Царского Села две телеграммы, одна из которых (№ 4) гласила: „Прошу вас сделать распоряжение о подготовке помещения для расквартирования в городе Царское Село и его окрестностях, 13 батальонов, 16 эскадронов и 4 батарей. О последовавшем распоряжении прошу меня уведомить завтра 1 марта на станции Царское Село“.

Эшелон Георгиевского батальона, полурота Железнодорожного полка и рота Собственного Его Величества полка были отправлены из Могилева около 11 часов утра. Вагон Иванова, выехавший несколько позже, был прицеплен к эшелону в Орше.

С северного фронта утром 28 были отправлены 3 эшелона 67-го пехотного Тарутинского полка; предполагалось отправить 68 Бородинский полк и кавалерию.

С западного фронта предполагалось отправить два кавалерийских полка 2-й дивизии, два пехотных и пулеметную команду Кольта.

Иванов передал Алексееву следующий документ (на бланке генерал-адъютанта Иванова): 28 февраля 1917 года № 1. „Начальнику Штаба Верховного Главнокомандующего. При представлении моем сего числа около 3 часов утра Государю Императору, Его Императорскому Величеству было благоугодно повелеть доложить Вам, для поставления в известность председателя совета министров, следующее повеление Его Императорского Величества.

„Все министры должны исполнять все требования главнокомандующего петроградским военным округом генерал-адъютанта Иванова беспрекословно“. Генерал-адъютант Иванов.

Права генерала Иванова определялись следующим документом от 28 февраля (на бланке Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего, № 507).

„На основании 12 статьи Правил о местностях, объявленных на военном положении, мною предоставляется Вашему Высокопревосходительству принадлежащее мне на основании 29 ст. Положения о полевом управлении войск право предания гражданских лиц военно-полевому суду по всем делам, направляемым в военный суд, по коим еще не состоялось предания обвиняемых суду. Распоряжения Вашего Высокопревосходительства о суждении гра-

жданских лиц в военно-полевом суде могут быть делаемы, как по отношению к отдельным делам, так и по отношению к целым категориям дел, с предварительным, в последнем случае, объявлением о сем во всеобщее сведение. Подписали: Генерал-адъютант Алексеев. Генерал-лейтенант Кондзеровский".

Командир Георгиевского батальона, генерал Пожарский, собрав 27 февраля своих офицеров, объявил им, что в Петербурге приказания стрелять в народ он не даст, хотя бы этого потребовал генерал Иванов.

В то время, как в Могилеве происходили сборы, и литерные (свитский и императорский) поезда в 4 и в 5 часов утра двинулись по направлению Смоленск—Вязьма—Ржев—Лихославль,—генералы Хабалов, Занкевич и Беляев (расставшийся с великим князем Михаилом Александровичем после 2 часов ночи) с кучкой верных им офицеров и солдат перешли из Зимнего Дворца в здание Адмиралтейства, заняли фасады, обращенные к Невскому, артиллерию поставили на дворе, во втором этаже разместили пехоту, а на углах, подходящих для обстрела, расставили пулеметы. Снарядов у них было мало, патронов не было вовсе, а есть было нечего; с большим трудом достали немного хлеба для солдат. У казачьей сотни, расквартированной в казармах Конного полка, лошади были непоены и некормлены. По Адмиралтейству постреливали, но оттуда не отвечали. Тут и происходил ночной разговор с Ивановым по прямому проводу. Ночью от Хабалова ответили, что он не знает, где переговорить с Ивановым, и не может выйти на улицу без риска быть арестованным.

Иванов вызвал его к прямому проводу к 8 часам утра, и они обменялись следующим: Иванов передал десять вопросных пунктов (записаны на трех желтых листочках).

„1) Какие части в порядке и какие безобразят? 2) Какие вокзалы охраняются? 3) В каких частях города поддерживается порядок? 4) Какие власти правят этими частями города? 5) Все ли министерства правильно функционируют? 6) Какие полицейские власти находятся в данное время в вашем распоряжении? 7) Какие технические и хозяйственные учреждения военного ведомства ныне в вашем распоряжении? 8) Какое количество продовольствия в вашем распоряжении? 9) Много ли оружия, артиллерии и боевых припасов попало в руки бунтующих? 10) Какие военные власти и штабы в вашем распоряжении?—Я сейчас иду к генералу Алексееву и приду через полчаса“.

Хабалов ответил телеграммой по пунктам:

„1) Моем распоряжении здание главного Адмиралтейства, четыре гвардейских роты, пять эскадронов и сотен, и две батареи, прочие войска перешли на сторону революционеров, или остаются по соглашению с ними нейтральными. Отдельные солдаты и шайки бродят по городу, стреляя прохожих, обезоруживая офицеров. 2) Все вокзалы во власти революционеров, строго ими охраняются. 3) Весь город во власти революционеров, телефон не действует, связи с частями города нет. 4) Ответить не могу. 5) Министры арестованы революционерами. 6) Не находятся вовсе. 7) Не имею. 8) Продовольствия в моем распоряжении нет, в городе к 25 февраля было

5.600.000 пудов запаса муки. 9) Все артиллерийские заведения во власти революционеров. 10) Моем распоряжении лично начальник штаба округа; с прочими окружными управлениями связи не имею".

Эту телеграмму Хабалов подтвердил в последовавшем разговоре с Ивановым.

В то же утро, генералы Тяжельников и Михайличенко, сидя в Адмиралтействе, с удивлением слушали, как Беляев в соседней комнате диктовал телеграмму, которая начиналась словами очень умеренными: „Положение по прежнему продолжает оставаться тревожным". Далее сообщалось, однако, что „мятежники" овладели во всех частях города учреждениями, войска переходят на их сторону, или становятся нейтральными, на улицах идет пальба, движение прекращено, офицеров разоружают и скорейшее прибытие войск крайне желательно (послана в 11 час. 32 мин. в Ставку Наштаверху, копия— Орша, вслед Дворцовому Коменданту, № 201).

Около полудня, 28 февраля, в Адмиралтейство явился адъютант морского министра, который потребовал очистки здания, так как, в противном случае, восставшие угрожали открыть по нему артиллерийский огонь из Петропавловской крепости. На совещании было решено, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Артиллерия отправилась обратно в Стрельну, оставив замки от орудий; пулеметы и ружья спрятали в здании, и вся пехота была распущена без оружия. Хабалов был арестован солдатами, осматривавшими здание Адмиралтейства, в тот же день, около 4 часов. Беляев прошел в Генеральный

Штаб, откуда в 2 часа 20 минут послал следующую секретную телеграмму Наштаверху (№ 9157):

„Около 12 часов дня 28 февраля остатки оставшихся еще верными частей в числе 4 рот, 1 сотни, 2 батарей и пулеметной роты, по требованию Морского Министра, были выведены из Адмиралтейства, чтобы не подвергнуть разгрому здание. Перевод этих войск в другое место не признал соответственным, ввиду не полной их надежности. Части разведены по казармам, при чем во избежание отнятия оружия замки орудий сданы Морскому Министерству“.

После 3-х часов Беляев прошел в дом военного министра на Мойку, где и ночевал.

Иванов выехал из Могилева около 1 часу дня. Ему в догонку была послана копия телеграммы Наштаверха на имя начальника военно-походной канцелярии (№ 1820): „Всеподданнейше доношу: военный министр сообщает, что около 12 часов 28 сего февраля остатки оставшихся еще верными частей в числе 4 рот, 1 сотни, 2 батарей и пулеметной роты по требованию морского министра были выведены из Адмиралтейства, чтобы не подвергнуть разгрому здание. Перевод всех этих войск в другое место не признал соответственным, в виду неполной их надежности. Части разведены по казармам, при чем, во избежание отнятия оружия, по пути следования, ружья и пулеметы, а также замки орудий сданы морскому министерству“.

После отъезда Иванова в Ставке была получена следующая телеграмма и. о. начальника морского генерального штаба адмирала Капниста на имя адмирала Русина (№ 2704):

„Положение к вечеру таково: мятежные войска овладели Выборгской стороной, всей частью города от Литейного до Смольного и оттуда по Суворовскому и Спасской. Сейчас сообщают о стрельбе на Петроградской стороне. Сеньорен-Конвент Государственной Думы, по просьбе делегатов от мятежников, избрал комитет для водворения порядка в столице и для сношения с учреждениями и лицами. Сомнительно, однако, чтобы бушующую толпу можно было бы успокоить. Войска переходят легко на сторону мятежников. На улицах офицеров обезоруживают. Автомобили толпа отбирает. У нас отобрано три автомобиля, в том числе Вашего Превосходительства, который вооруженные солдаты заставили выехать со двора моей квартиры, держат с Хижняком, которого заставили править машиной. Командование принял Беляев, но судя, по тому, что происходит, едва ли он справится. В городе отсутствие охраны и хулиганы начали грабить. Семафоры порваны, поезда не ходят. Морской Министр болен инфлюэнцией, большая температура—38, лежит, теперь ему лучше. Чувствуется полная анархия. Есть признаки, что у мятежников плана нет, но заметна некоторая организация, например, кварталы от Литейного по Сергиевской и Таврической обставлены их часовыми. Я живу в Штабе, считаю, что выезжать в Ставку до нового Вашего распоряжения не могу“.

Иванов прибыл из Могилева в Витебск с маленьким опозданием, часов в 6—7 вечера, и проехал дальше. В этот день и на следующий обменивались телеграммами о формировании и отправке воинских

частей генерал Иванов (28 февраля, спешно, секретно № 1 Главкозапу и № 2 Главкосеву), Данилов (28 февраля № 1165-Б и 1166-Б), Рузский (28 февраля № 1168-Б), Гулевич (1 марта, № 535), Тихменев (генералу Иванову, 1 марта, № 278), подполковник Кринский (генералу Тихменеву, № 3), генерал князь Трубецкий (генералу Иванову, 1 марта, № 154). 28 же февраля была разослана „по всей сети на имя всех начальствующих“ известная телеграмма члена Государственной Думы Бубликова, № 6932.

Императорский поезд следовал без происшествий, встречаемый урядниками и губернаторами. Непосредственные известия из Петербурга перестали поступать; питались только вздорными слухами о том, что грабят Зимний Дворец, убит градоначальник Балк и его помощник Вендорф.

В 3 часа дня царь послал императрице из Вязьмы следующую телеграмму (по-английски): „Выехали сегодня утром в 5. Мыслями всегда вместе. Великолепная погода. Надеюсь, чувствуете себя хорошо и спокойно. Много войск послано с фронта. Любящий нежно Ники“.

В Лихославле Воейков получил шифрованную телеграмму от Беляева. Здесь были сведения, что в Петербурге Временное Правительство с Родзянко во главе. Читали и телеграмму Бубликова с распоряжением по всем дорогам. В 10 часов вечера Дубенский писал Федорову: „Дорогой Сергей Петрович, дальше Тосны поезда не пойдут. По моему глубокому убеждению, надо Его Величеству из Бологого повернуть на Псков (320 верст) и там, опираясь на фронт Г. А. Рузского, начать действовать против

Петрограда. Там во Пскове скорей можно сделать распоряжение о составе отряда для отправки Петроград. Псков—старый губернский город, население его не взволновано. Оттуда скорей и лучше можно помочь Царской Семье. В Тосне Его Величество может подвергнуться опасности. Пишу Вам все это, считая невозможным скрыть, мне кажется, эту мысль, которая в эту страшную минуту может помочь делу спасения Государя, Его семьи. Если мою мысль не одобрите, разорвите записку".

В Бологом в свитском поезде стало известно, что в Любани стоят войска, которые могут не пропустить дальше. Однако, поезд продолжал следовать по линии Николаевской железной дороги, по направлению к Петербургу. В Малой Кишере офицер 1-го железнодорожного полка, без оружия, предупредил свиту, что в Любани находятся две роты с орудиями и пулеметами. Было решено ждать прибытия императорского поезда. Так как из ряда сведений определилось, что Временное Правительство направляет литерные поезда не на Царское Село, а на Петербург, где, как полагали, царю будут поставлены условия о дальнейшем управлении,—общий голос был за то, чтобы ехать в Псков: там—генерал Рузский, человек умный и спокойный; если в Петербурге восстание, — он послал войска, если переворот — он вошел в сношение с новым правительством. Немногие говорили, что надо вернуться в Ставку.

В третьем часу ночи дождались поезда. Генерал Саблин пошел туда. Все, кроме Нарышкина, спали; Воейкова пришлось разбудить.

Воейков отправился к царю, разбудил его и сообщил, что на Тосну ехать рискованно, так как она занята революционными войсками.

Царь встал с кровати, надел халат и сказал: „Ну, тогда поедемте до ближайшего юза".

Воейков вышел веселый, со словами: мы едем в Псков, „теперь вы довольны?"—Поезда повернули назад.

Дубенский записывает в дневнике: „Все признают, что этот ночной поворот в Вишере есть историческая ночь в дни нашей революции. Государь по прежнему спокоен и мало говорит о событиях. Для меня совершенно ясно, что вопрос о конституции окончен, она будет введена наверное. Царь и не думает спорить и протестовать. Все его приближенные за это: граф Фредерикс, Нилов, граф Граббе, Федоров, Долгорукий, Лейхтенбергский, все говорят, что надо только сторговаться с ними, с членами Временного Правительства".

Генерал Иванов, проснувшись 1 марта часов в 6-7 утра, узнал, что его поезд находится на станции Дно, т. е., вместо 500 верст, прошел только 200. Комендант станции доложил, что в поездах, вышедших накануне из Петербурга, едет масса солдат в военной и штатской форме, что они насильно отбирают у офицеров оружие, и что выехавший начальник жандармского управления ничего сделать не может и просит содействия. Полковник Лебедев, заведующий передвижением войск, телеграфировал Иванову: „Доношу, что получены мною сведения о поезде № 3, в котором едут пьяные солдаты, одетые в штатское и вооруженные шашками, ружьями,

обезоруживающие офицеров и жандармов. Прошу ваших распоряжений".

Иванов приказал командиру батальона осматривать встречные поезда, особенно, в виду того, что, по полученному известию, императорский поезд вышел из Бологого и к вечеру ожидался в Дне.

Иванов лично видел несколько прибывших из Петербурга поездов. Они были набиты солдатами, некоторые были пьяны. Из разговоров женщин и старого чиновника, который рассказывал о провокаторах, Иванов убедился, что „безобразия большие". Ему удалось арестовать человек 30—40, в том числе переодетых городовых, бежавших из Петербурга (все они, кроме 2-х, были отпущены в Царском Селе, а двое—на обратном пути в Могилев) и отобрать у солдат 75—100 штук шашек и прочего офицерского оружия. Генерал Иванов, как установлено им самим и показаниями солдат Георгиевского батальона, применял раза три-четыре особого рода „отеческое воздействие" с целью добиться покорности: ставил на колени пьяных или дерзивших ему нижних чинов. При этом им руководили, очевидно, гуманные побуждения, т.-е. он избегал предания этих лиц военно-полевому суду.

Поезд Иванова прибыл на Вырицу около 6 часов вечера.

В это время императорский поезд, без всяких задержек, двигался к станции Дно. По словам Воейкова, когда все проснулись, „о событиях старались не говорить, потому что это не особенно приятно было. Общее настроение было—испуг и надежда, что приедем в Псков, и все выяснится". Во время

завтрака и обеда говорили обо всем, только не о делах, потому что тут была прислуга (а по французски царь говорил очень редко) и потому, что царь избегал вступать в политические разговоры со свитой (вся атмосфера была—„манекен“); по словам Дубенского, царь, человек мужественный и „поклонник какого-то „рока“, „спал, кушал и занимал даже разговорами ближайших лиц свиты“.

Около 6 часов вечера поезд пришел в Дно.

С утра 1 марта против дома военного министра в Петербурге стали собираться толпы народа. Беляева искали еще накануне в его частной квартире на Николаевской, а 1 марта стали громить эту квартиру.

Опасаясь разгрома служебного кабинета на Мойке, Беляев с помощью своего секретаря Шильдера, его помощника Огурцова, швейцара и денщика, стал жечь в печах и камине еще накануне приготовленные для сожжения документы.

В числе сожженных документов были: некоторые дела совета министров, дела особого совещания по объединению мероприятий, по снабжению армии и флота и по организации тыла (так называемое, совещание пяти министров), много материалов, касающихся снабжения армии и имеющих секретный характер, секретные шифры, маленький секретный журнал для записи секретных бумаг, возвращаемых министром после доклада, ленты и подлинные телеграммы о положении в Петербурге, отправленные военным министром начальнику штаба верховного главнокомандующего по прямому проводу.

В числе бумаг, повидимому, уничтоженных, и не возвращенных из дома военного министра в Глав-

ный Штаб и в Главное Управление Генерального Штаба, были некоторые и секретные и несекретные документы, документы, часть которых имела важное значение и не имела копий; восстановить их возможно только по памяти или совсем невозможно.

В своих объяснениях, генерал Беляев сослался на то, что он руководился опасением, чтобы тайные бумаги не попали в руки громившей толпы, среди которой могли быть злонамеренные лица. Остался только один подлинный документ, касающийся данных союзной конференции, который Беляев положил в ящик стола.

В два часа дня Беляев, узнав, что громят его частную квартиру на Николаевской, по совету морского министра, сидевшего у себя в штабе, перешел в генеральный штаб, где его искали ночью, чтобы арестовать. Беляев позвонил в Государственную Думу; подошедший к телефону Н. В. Некрасов посоветовал ему ехать в Петропавловскую крепость, Беляев поехал в Думу; предлагал дать подписку о невыезде и просил чтобы ему „дали возможность превратиться в частного обывателя поскорее". Ему предложили отправиться в министерский павильон откуда вечером перевезли в крепость.

Генерал Мрозовский послал в этот день царю в Царское Село из Москвы следующую телеграмму: „Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу: большинство войск с артиллерией передалось революционерам, во власти которых поэтому находится весь город; градоначальник с помощником выбыли из градоначальства; получил от Родзянки предложение признать временную власть

Комитета Государственной Думы, положение крайне серьезное, при нынешних условиях не могу влиять на ход событий, опасаюсь утверждения власти крайних левых, образовавших исполнительный комитет, промедление каждого часа увеличивает опасность; получаю от более благомыслящей части населения заявления, что призвание нового министерства восстановить порядок и власть. Срочно испрашиваю повеления Вашего Величества. Генерал Мрозовский.

Генерал Иванов, узнав в Вырице, что министры арестованы, что в Царском 27-го был бунт, и что на станции Александровской высаживается Тарутинский полк, пришедший с фронта, решил идти в Царское, вызвал туда начальствующих и выехал сам, приказав к концу поезда прицепить второй паровоз. Прибыли вечером 1 марта.

В Царском в этот день после полудня появились броневики и автомобили с пулеметами, которые обыкновенно доезжали только до вокзала и уезжали обратно. Полковник Дротен доложил, что гвардейская рота ушла в Петербург. Генерал Осипов отдал приказ о впуске и выпуске из Царского Села, так как гарнизон спаивал прибывающие части. После этих докладов прибыли выборные представители от города и войска. Генерал Пожарский вновь заявил, что его солдаты стрелять не будут, а георгиевцы объяснили, в ответ на предложение присоединиться, что их батальон „нейтрален" и имеет целью охрану личности Николая II.

Иванов получил от Алексеева следующую шифрованную телеграмму.

„Частные сведения говорят, что в Петрограде наступило полное спокойствие: войска, примкнувшие к временному правительству, в полном составе приводятся в порядок. Временное правительство под председательством Родзянки, заседая в Государственной Думе, пригласило командиров воинских частей для получения приказаний по поддержанию порядка. Воззвание к населению, выпущенное временным правительством, говорит о незыблимости монархического начала России, о необходимости новых оснований для выбора и назначения правительства. Ждут с нетерпением приезда его величества, чтобы представить Ему все изложенное и просьбу принять это пожелание народа. Если эти сведения верны, то изменяются способы ваших действий, переговоры приведут умиротворению, дабы избежать ненужной междоусобицы, столь желательной нашему врагу, дабы сохранить учреждения, заводы, пустить в ход работы. Воззвание нового министра путей, опубликованное железнодорожникам, мною полученное кружным путем, зовет к усиленной работе всех, дабы наладить расстроенный транспорт его. Доложите его величеству это убеждение, что дело можно привести мирно—хорошему концу, который укрепит миссию".

Получив эту телеграмму (единственную из девяти посланных), Иванов прочел ее не сразу, так как его вызвала к себе (около 2-х часов ночи) императрица, которая с полудня 28 февраля охранялась уже революционными войсками. К тому времени Иванов уже знал (с Вырицы), что царский поезд вышел из Дна на Псков.

Императрица сообщила, что, не получая ответа на свою телеграмму, она хотела послать аэроплан, но погода не позволила. На просьбу ее переслать письмо, Иванов доложил, что у него нет человека. Императрица много говорила о деятельности своей и своих дочерей на пользу больных и раненых и недоумевала по поводу неудовольствий. В дальнейшем разговоре она упоминала ответственное министерство, а Иванов указывал, что думское большинство удовлетворялось Треповым, и вопрос был только о министре внутренних дел. В эту минуту, по рассказу Иванова, кто-то кашлянул в соседней комнате, императрица вышла, и за дверью начался неслышный и непонятный Иванову английский разговор.

Когда Иванов уезжал, в Царском было тихо. Пришла телеграмма: „Псков, час пять минут ночи. Надеюсь, благополучно доехали. Прошу до моего приезда никаких решений не принимать. Николай". Иванов ответил, что 2 марта, получил телеграмму и ждет дальнейших указаний (№ 7) и телеграфировал о том же Алексееву (№ 6).

В эту ночь в Царское Село приехал командированный Начальником Генерального Штаба (генералом Занкевичем) полковник Доманевский—для исполнения должности Начальника Штаба Иванова. Он сделал доклад Иванову о том, что „в распоряжении законных военных властей не осталось ни одной части" и „с этой минуты (т. е. с 12 часов дня, 28 февраля) прекратилась борьба с восставшей частью населения". Офицеры и нижние чины явились в Государственную Думу, полиция частью снята,

частью попряталась, часть министров арестована, министерства могут продолжать работу, только „как бы признав“ Временное Правительство. При таких условиях вооруженная борьба трудна, и выход представляется не в ней, а в соглашении с Временным Правительством, путем „узаконения наиболее умеренной его части“. Среди восставших обнаруживались „два совершенно определенных течения“ „одни примкнули к Думским выборным“ и, оставаясь верными монархическому принципу, желали лишь некоторых реформ и скорейшей ликвидации беспорядков; „другие поддерживали совет рабочих“, „искали крайних результатов и конца войны“. До 1 марта Временное Правительство было хозяином положения в столице, но с каждым днем положение его становилось труднее и власть могла перейти к крайним левым. Поэтому, в настоящее время „вооруженная борьба только осложнит положение“.

Прибежавший начальник станции сообщил, что на вокзал двигаются тяжелый дивизион и батальон первого гвардейского запасного стрелкового полка (в эту ночь А. И. Гучков, в качестве председателя военной комиссии, ездил на Варшавский и Балтийский вокзалы, чтобы навести порядок на случай прибытия карательной экспедиции, причем его автомобиль был обстрелян, и спутник его, князь Вяземский, был убит). Иванов, зная, что Хабалов арестован, и в городе „хозяйничают“ Родзянко и Гучков, считая, что охрана дворца не входит в его задачу, и понимая, что „если пойдет толпа, тысячи „уложишь“, решил уходить. Таким образом, после каких то затруднений с переводной стрелкой и сломан-

ным крюком в хвостовых вагонах, оказавшихся передовыми, весь поезд с георгиевским батальоном был уведен в ночь с 1 на 2 марта обратно, на Вырицу.

Через 15 минут после ухода их на вокзале в Царском уже появились народные войска с пулеметами; говорили „если они перейдут на нашу сторону, побратаемся".

Когда императорский поезд пришел в Дно, Алексеев сам передал Родзянке телеграмму о согласии царя принять его. Последовал ответ, что Родзянко едет на станцию Дно. Воейкову по телеграфу сообщили, что поезд готов, но из Думы сообщили по телефону, что Родзянко еще не выезжал (в тот день Гучков настаивал в Исполнительном Комитете, чтобы миссию—склонить царя к отречению—взял на себя Родзянко, но эта миссия была возложена на него и на В. В. Шульгина). Царь решил не ждать в Дне, и Воейков послал Родзянке телеграмму, что его будут ждать в Пскове.

Дубенский записывал:

„Уже 1 марта едет к Государю Родзянко в Псков для переговоров. Кажется. он выехал экстренным поездом из Петрограда в 3 часа дня; сегодня Царское окружено, но вчера императрица телеграфировала по английски, что в Царском все спокойно. Старый Псков опять занесет на страницы своей истории великие дни, когда пребывал здесь последний самодержец России, Николай II, и лишился своей власти, как самодержец".

С прибытием царского поезда в Псков, в девятом часу вечера, начались, по словам Дубенского, „все более грустные и великие события".

По прибытии, в вагон государя вошли генерал Рузский и начальник его штаба генерал Данилов. По мнению Рузского, надо было идти на все уступки, сдаваться на милость победителя и давать полную конституцию, иначе, анархия будет расти, и Россия погибнет.

Воейков получил телеграмму от Бубликова о том, что Родзянко не приедет. Царь решил послать телеграмму к Родзянке, смысл ее был такой: „Ради спасения родины и счастья народа, предлагаю вам составить новое министерство во главе с вами, но министр иностранных дел, военный и морской будут назначаться мной". Царь сказал Воейкову: „Пошлите ее по юзу и покажите Рузскому".

Рузский, по словам Воейкова, вырвал телеграмму у него из рук и сказал, что здесь он сам посылает телеграммы. На доклад Воейкова об этом, царь сказал: „Ну, пускай он сам пошлет".—Весь вечер шел вызов Петербурга, и Рузский, иногда возвращаясь к Царю, говорил по прямому проводу (юз был в городе) всю ночь, до 6 часов утра. Таким образом, все дальнейшие переговоры происходили через Рузского, которому было поручено говорить об условиях конституции.

Между тем, придворные беспокоились о своих домашних. Дубенский отрядил в Петербург своего человека, которого переодели в штатское („хулиганом"). Фредерикс, Дрентельн и Воейков дали ему письма, и он вернулся с ответами.

В четверг, 2 марта, утром ответы Родзянко Рузскому оказались, по словам Дубенского, „неутешительными". На вопрос Воейкова о результате теле-

граммы к Родзянко, Рузский ответил: „Того, что ему послано, теперь недостаточно, придется итти дальше“. „Родзянко, пишет Дубенский, сказал, что он не может быть уверенным ни за один час; ехать для переговоров не может, о чем он телеграфирует, намекая на изменившиеся обстоятельства. Обстоятельство это только что предположено, а, может быть, и осуществлено—избрать регентом Михаила Александровича, т. е. совершенно упразднить императора Николая II. Рузский находит, что войска посылать в Петроград нельзя, так как только ухудшат положение, ибо перейдут к мятежникам. Трудно представить весь ужас слухов... В Петрограде анархия, господство черни, жидов, оскорбление офицеров, аресты министров и других видных деятелей правительства. Разграблены ружейные магазины“...

В это время генерал Иванов, сидевший в Вырице, собрался переговорить с командирами запасных батальонов и повидать Тарутинский полк (все остальные были задержаны в пути), чтобы узнать части, с которыми придется иметь дело. Сведения об этих частях также были неблагоприятны.

Собираясь проехать несколько станций на автомобиле, Иванов получил записку от Гучкова, который около 1 часа дня выехал с Шульгиным в Псков и телеграфировал Рузскому, что „едет по важному делу“, и Иванову, которого хотел отговорить в пути, зная только, что какие-то эшелоны идут на Петербург. Гучков писал:

„Еду в Псков, примите все меры повидать меня либо в Пскове, либо на обратном пути из Пскова в

Петроград. Распоряжение дано о пропуске Вас этом направлении“.

Иванов телеграфировал Гучкову в Псков: „Рад буду повидать вас, но на станции Вырица. Если то для вас возможно, телеграфируйте о времени проезда“.

Гучков ответил: „На обратном пути из Пскова постараюсь быть Вырице, желательнее встретить вас Гатчине Варшавской“.

Тогда Иванов решил проехать по соединительной ветке через станцию Владимирскую (между Гатчиной и Царским) на Варшавскую дорогу, надеясь посмотреть на станции Александровской Тарутинский полк и повидаться с Гучковым, после его возвращения из Пскова. На станции Сусанино поезд Иванова, со всем батальоном, поставили в тупик. Первая телеграмма от Бубликова гласила: „Мне стало известно, что вы арестовываете и терроризуете служащих железных дорог, находящихся в моем ведении. По поручению Временного Комитета Государственной Думы предупреждаю вас, что вы навлекаете на себя этим тяжелую ответственность. Советую вам не двигаться из Вырицы, ибо, по имеющимся у меня сведениям, народными войсками ваш полк будет обстрелян артиллерийским огнем“. Вторая: „Ваше настойчивое желание ехать дальше ставит непреодолимое препятствие для выполнения желания Его Величества немедленно следовать Царское Село. Убедительнейше прошу остаться в Сусанино или вернуться Вырицу“.

Иванов вернулся на Вырицу и послал Алексееву шифрованную телеграмму № 9 (копия Тихменеву):

„До сих пор не имею никаких сведений о движении частей, назначенных мое распоряжение. Имею негласные сведения о приостановке движения моего поезда. Прошу принятия экстренных мер для восстановления порядка среди железнодорожной администрации, которая несомненно получает директивы временного правительства“.

Для посылки телеграммы, Иванов дал один из своих паровозов подполковнику генерального штаба Тилли; он должен был передать ее по прямому проводу из Царского Села в Ставку. Тилли доложил по телефону, что он задержан в Царском Селе. Вместе с тем, Иванов получил от Тихменева следующую телеграмму: „Докладываю для сведения депешу Наштасева командирам 5, Наштаверху, Начвосеву: „В виду невозможности продвигать эшелоны далее Луги, нежелательности скопления их на линии, особенно Пскове, и разрешения государя императора вступить Главкосеву сношения Председателем Государственной Думы, последовало высочайшее соизволение вернуть войска, направляющиеся станцию Александровскую, обратно Двинский район, где расположить их распоряжением командарма 5. № 1216-В, 1 час, 2 марта, Данилов“.

Тем временем, придворные в Пскове суетились, „толкаясь из вагона в вагон“. События развивались для них „все страшнее и неожиданнее“.

Рузский после завтрака второй раз пришел к царю и доложил ему семь телеграмм: от великого князя Николая Николаевича, который коленопреклоненно молил царя отречься от престола и передать его наследнику при регентстве великого князя

Михаила Александровича, от Алексеева, Сахарова, Брусилова, Эверта, Непенина—и заявление Рузского—о том же; в телеграмме Алексеева (из Могилева) была изложена форма отречения, которую он считал для царя желательной.

После разговора с Рузским, царь решил послать ответ телеграммой с согласием отречься от престола; по словам Дубенского, это решение было принято, „дабы не делать отказа от престола под давлением Гучкова и Шульгина", приезда которых ждали, и которых царь собирался принять. Следующий эпизод, записанный в дневнике Дубенского, Воейков опровергает категорически:

„Когда Воейков узнал это от Фредерикса, пославшего эту телеграмму, он попросил у государя разрешения вернуть телеграмму. Государь согласился. Воейков быстро вошел в вагон свиты и заявил Нарышкину, чтобы он побежал скорее на телеграф и приостановил телеграмму. Нарышкин пошел на телеграф, но телеграмма ушла, и начальник телеграфа сказал, что он попытается ее остановить. Когда Нарышкин вернулся и сообщил это, то все стоящие здесь почти в один голос сказали: „Все кончено". Затем выражали сожаление, что государь поспешил, все были расстроены, поскольку могут быть расстроены эти пустые, эгоистичные в большинстве люди".

Царь долго гулял между поездами, спокойный на вид. Через полчаса после отречения, Дубенский стоял у окна и плакал. Мимо вагона прошел царь с Лейхтенбергским, весело посмотрел на Дубенского, кивнул и отдал честь. „Тут, говорит Дубенский, возможна выдержка, или холодное равнодушие ко

всему". После отречения „у него одеревенело лицо, он всем кланялся, он протянул мне руку, и я эту руку поцеловал. Я все-таки удивился,—Господи, откуда у него берутся такие силы, он ведь мог к нам не выходить". Однако, „когда он говорил с Фредериксом об Алексее Николаевиче, один на один, я знаю, он все-таки заплакал. Когда с С. П. Федоровым говорил, ведь он наивно думал, что может отказаться от престола и остаться простым обывателем в России: „Неужели вы думаете, что я буду интриговать. Я буду жить около Алексея и его воспитывать".

После отречения царь сказал только: „Мне стыдно будет увидеть иностранных агентов в Ставке, и им неловко будет видеть меня". „Слабый, безвольный, но хороший и чистый человек, замечает Дубенский, он погиб из-за императрицы, ее безумного увлечения Григорием,—Россия не могла простить этого".

Придворные долго разговаривали, и Воейков, по настоянию Дубенского, пошел убеждать царя, что он не имеет права отказываться от престола таким „кустарным образом", только по желанию временного правительства и командующих фронтами. Он, замечает Дубенский, отрекся от престола, „как сдал эскадрон".

В 9 часов вечера в Псков приехали Гучков и Шульгин, уполномоченные Временным Комитетом Государственной Думы, в котором еще колебались между добровольным сохранением монархии с другим лицом, на новых началах, и свержением царя и избранием новых политических форм. Предполагалось рекомендовать царю назначить только председателя

Совета Министров и отречься в пользу сына, с регентством Михаила Александровича.

В эту ночь, по возвращении с объезда вокзалов, Гучков участвовал в совещаниях Временного Комитета Государственной Думы и Исполнительного Комитета Совета Солдатских и Рабочих Депутатов.

По приезде в Псков, Гучков хотел видеть Рузского, чтобы ознакомиться с настроениями; но встречавший на вокзале полковник сразу пригласил их в вагон царя, где Гучков и Шульгин встретили Фредерикса и Нарышкина; потом пришел и Рузский.

Вошедший через несколько минут царь сел за маленький столик и сделал жест, приглашающий сесть рядом. Остальные сели вдоль стен. Царь не обнаружил никаких признаков своего давнего неблаговоления к Гучкову, но также и никакой теплоты. Он говорил спокойным, корректным и деловым тоном. Нарышкин вынул записную книжку и стал записывать.

Гучков сказал, что он приехал от имени Временного Комитета Государственной Думы, чтобы дать нужные советы, как вывести страну из тяжелого положения; Петербург уже всецело в руках движения, попытки фронта не приведут ни к чему, и всякая воинская часть перейдет на сторону движения, как только подышет Петербургским воздухом.

Рузский поддержал, сказав, что совершенно согласен с А. И. и никаких запасных частей послать в Петроград не мог бы.

„Поэтому, продолжал Гучков, всякая борьба для вас бесполезна. Совет наш заключается в том, что вы должны отречься от престола“.

Рассказав, как представители царскосельских воинских частей пришли в Думу и всецело присоединились к новой власти, Гучков продолжал: „Я знаю, ваше величество, что я вам предлагаю решение громадной важности, и я не жду, чтобы вы приняли его тотчас. Если вы хотите несколько обдумать этот шаг, я готов уйти из вагона и подождать, пока вы примете решение, но, во всяком случае, все это должно совершиться сегодня вечером.

Царь, выслушав все очень спокойно, ответил: „Я этот вопрос уже обдумал и решил отречься".

Гучков сказал, что царю, конечно, придется расстаться с сыном, потому что „никто не решится доверить судьбу и воспитание будущего государя тем, кто довел страну до настоящего положения".

На это царь сказал, что он не может расстаться с сыном и передает престол своему брату Михаилу Александровичу.

Гучков, предупредив, что он остается в Пскове час или полтора, просил сейчас же составить акт об отречении, так как завтра он должен быть в Петербурге с актом в руках. Текст был накануне набросан Шульгиным, некоторые поправки внесены Гучковым. Этот текст, не навязывая его дословно, в качестве матерьяла, передали царю: царь взял его и вышел.

Гучков, которому все предшествовавшие события не были известны, поразился тем, что отречение далось так легко. Сцена произвела на него тяжелое впечатление своей обыденностью, и ему пришло в голову, что он имеет дело с человеком ненормальным, с пониженной сознательностью и чувствитель-

ностью. Царь, по впечатлению Гучкова, был совершенно лишен трагического понимания события: при самом железном самообладании можно было не выдержать, но голос у царя как будто дрогнул только когда он говорил о разлуке с сыном.

В вагоне ждали час или полтора. Рузский, как и начальник его штаба генерал Данилов, были, повидимому, сторонниками отречения; с Нарышкиным разговоров не было, больной Фредерикс едва ли отдавал себе отчет в происходящем и был взволнован известием, что его дом сожжен, беспокоясь о больной жене; к собеседникам присоединился Воейков, который также беспокоился о семье и о своей жене (дочери Фредерикса).

Царь вернулся и передал Гучкову переписанный на машинке акт с подписью „Николай". Гучков прочел его присутствующим вслух. Шульгин внес две—три незначительных поправки. В одном месте царь сказал: „Не лучше ли так выразить?" и вставил какое-то слово. Все поправки были тотчас внесены и оговорены.

Гучков сказал, что, ввиду могущих произойти в дороге случайностей, следует составить второй акт—не копию, а дубликат—и оставить его в штабе главнокомандующего. Царь нашел это правильным и сказал, что так и будет сделано.

Царь сказал, что он назначает верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича; Гучков ничего не возражал, а может быть и подтвердил. Была составлена телеграмма Николаю Николаевичу.

Гучков сказал, что Думский Комитет ставит во главе правительства князя Львова. Царь сказал, что

он знает его и согласен, сел и написал указ Сенату о назначении князя Львова председателем Совета Министров. Царь согласился со словами Гучкова о том, что остальных министров председатель приглашает по своему усмотрению.

Таким образом царь назначил верховного главнокомандующего и председателя Совета Министров уже после того, как скрепил акт; но на следующее утро, когда Гучков и Шульгин вернулись в Петербург, на улицах уже были плакаты с перечислением членов правительства.

Царь спросил о судьбе императрицы и детей, от которых два дня не имел известий. Гучков ответил, что все благополучно, больным детям оказывается помощь. Царь заговорил о своих планах, ехать ли ему в Царское или в Ставку; Гучков не знал, что посоветовать. Они простились.

Гучков и Шульгин пришли в вагон Рузского, где ждали, когда будет готов акт отречения. Присутствовал главный начальник снабжения Савич, Данилова не было, он зашифровывал акт.

В тот же вечер, Гучков и Шульгин выехали в Петербург, а бывший император—в Могилев; со станции Сиротино он послал следующую телеграмму: „Его императорскому величеству Михаилу. Петроград. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Останусь навсегда верным и преданным братом. Возвращаюсь в Ставку и оттуда через несколько дней надеюсь приехать в Царское Село. Горячо молю Бога помочь тебе и твоей родине. Ника“.

В пятницу, 3 марта, утром, генерал Иванов получил телеграммы от Родзянко и Гучкова. Родзянко телеграфировал: „№ 185. Генерал-адъютант Алексеев телеграммой от сего числа № 1892 уведомляет назначении главнокомандующим войсками петроградского округа генерал-лейтенанта Корнилова. Просит передать вашему высокопревосходительству приказание о возвращении вашем в Могилев“.

Гучков телеграфировал: „Тороплюсь Петроград, очень сожалею, не могу заехать. Свидание окончилось благополучно“.

Проверив переданное Родзянкой распоряжение Алексеева по телеграфу, Иванов решил вернуться в Ставку. Долго не могли достать второго паровоза и ожидали, что по дороге „устроят бенефис“. Наконец, выехали и благополучно доехали до станции Дно, где Иванов, в полночь с 3 на 4 марта, узнал от коменданта станции, что Шульгин объявил 3-го манифест, что царь отрекся в пользу наследника, и регентом будет великий князь Михаил Александрович.

4 марта Иванов подтвердил телеграммой коменданту станции Дно свое приказание отправить вслед за ним в Могилев задержанную в Дне искровую станцию. 5-го в 9 часов утра, по приезде в Псков, Иванов получил известия от 3 марта о действиях Исполнительного Комитета Государственной Думы. Между Новосокольниками и Витебском Иванов встретился с Корниловым. В Орше, из приложения к Витебской газете, Иванов узнал об отказе Михаила Александровича. Часа в 3—4 дня 5 марта Иванов приехал в Ставку, где получил печатный приказ об отречении царя и Михаила Александровича и узнал,

что „царь назначил князя Львова“. Иванов, который во все время путешествия ни разу не сообщал батальону никаких сведений о положении, что возбуждало неудовольствие среди солдат, „наставлял солдат служить верно и честно новому Правительству, благодарил их за службу и, прощаясь, обнял и поцеловал в каждой роте одного солдата за всю роту“.

Бывший император 4 марта виделся в Могилеве со своею матерью. В этот день, после разговора с Алексеевым, он удалил от себя Воейкова, а на следующий день просил уехать и Фредерикса.

6 марта в 14 ч. 31 мин. пополудни в Царское Село была передана следующая телеграмма командира одного из конных корпусов со служебной отметкой: „для разрешения дальнейшей передачи предъявить начальнику конторы“.

8 марта, бывший император выехал из Ставки и был заключен в Царскосельском Александровском дворце.

„Царское Село Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Александровичу“.

„С чувством удовлетворения узнали мы, что вашему величеству благоугодно было переменить образ управления нашим Отечеством и дать России ответственное министерство, чем сняли с себя тяжелый непосильный для самого сильного человека труд. С великой радостью узнали мы о возвращении к нам по приказу вашего императорского величества нашего старого Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, но с тяжелым чувством ужаса и

отчаяния выслушали чины конного корпуса Манифест Вашего Величества об отречении от Всероссийского престола и с негодованием и презрением отнеслись все чины корпуса к тем изменникам из войск, забывшим свой долг перед Царем, забывшим присягу, данную Богу, и присоединившимся к бунтовщикам. По приказанию и завету Вашего Императорского Величества конный корпус, бывший всегда сначала войны в первой линии и сражавшийся впродолжении двух с половиною лет с полным самоотвержением, будет вновь также стоять за родину и будет впредь также биться с внешним врагом до последней капли своей крови и до полной победы над ним. Но, Ваше Величество, простите нас, если мы прибегаем с горячей мольбой к нашему Богом данному нам Царю, не покидайте нас, Ваше Величество, не отнимайте у нас законного наследника престола русского. Только с Вами во главе возможно то единение русского народа, о котором Ваше Величество изволите писать в манифесте. Только со своим Богом данным Царем Россия может быть велика, сильна и крепка и достигнуть мира, благоденствия и счастья“.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение I.

Письмо в. кн. Александра Михайловича к Николаю II, от 25 декабря 1916—4 февраля 1917 годов.

Дорогой Ники, Тебе угодно было, 22-го декабря, дать мне высказать мое мнение по известному вопросу, и попутно пришлось затронуть почти все вопросы, которые волнуют нас; я просил разрешения говорить как на духу, и Ты дал мне его.

Я считаю, что, после всего мною сказанного, я обязан говорить дальше:—Ты невольно мог подумать, слушая меня: ему легко говорить, а каково мне, который должен разбираться в существующем хаосе и принимать те или другие меры и решения, подсказываемые мне с разных сторон.—Ты должен понимать, что я, как и все болящие душой за все происходящее, часто задавал себе вопрос: что бы я сделал на Твоем месте, и вот я хочу Тебе передать то, что мне подсказывает душа, которая, я убежден, говорит верно.

Мы переживаем самый опасный момент в истории России: вопрос стоит, быть ли России великим государством, свободным и способным самостоятельно развиваться и рости, или подчиниться германскому безбожному кулаку,—все это чувствуют: кто разумом,

кто сердцем, кто душою, и вот причина, почему все, за исключением трусов и врагов своей родины, отдают свои жизни и все достояние для достижения этой цели.—И вот, в это святое время, когда мы все, так сказать, держим испытание на звание человека, в его высшем понимании, как христианина, какие то силы внутри России ведут Тебя и, следовательно, Россию к неминуемой гибели.—Я говорю: Тебя и Россию, вполне сознательно, так как Россия без царя существовать не может, но нужно помнить, что царь один править таким государством, как Россия, не может; это надо раз навсегда себе усвоить и, следовательно, существование министерства с одной головой и палат совершенно необходимо; я говорю: палат, потому что существующие механизмы далеко несовершенны и не ответственны, а они должны быть таковыми и нести перед народом всю тяжесть ответственности; немыслимо существующее положение, когда вся ответственность лежит на Тебе и на Тебе одном. Чего хочет народ и общество? Очень немногого—власть (я не говорю избитые, ничего незначущие слова: твердую или крепкую власть, потому что слабая власть это не власть) разумную, идущую на встречу нуждам народным, и возможность жить свободно и давать жить свободно другим. Разумная власть должна состоять из лиц первым делом чистых, либеральных и преданных монархическому принципу, отнюдь не правых или, что еще хуже, крайне правых, так как для этой категории лиц, понятие о власти заключается: „править при помощи полиции, не давать свободного развития общественным силам и давать волю нашему ни-

куда негодному, в большинстве случаев, духовенству".

Председателем совета министров должно быть лицо, которому Ты вполне доверяешь; он выбирает себе и ответствен за всех других министров, все они вместе должны составлять одну голову, один разум и одну волю, и каждый по своей специальности проводит общую политику, а не свою, как это мы видим теперь; ни один министр не имеет права высказывать Тебе свои взгляды на общую политику,—он является докладчиком по своей узкой специальности; если же Ты хочешь услышать их мнение по общим вопросам, то таковое они могут высказывать только в совете министров, под Твоим личным председательством; при министерстве объединенном трудно ожидать, чтобы Ты услышал противоречия в их мнениях, но оттенки, в связи с делом порученным каждому из них, конечно, могут быть, и необходимо, чтобы Ты их слышал. Я принципиально против, так называемого, ответственного министерства, т. е. ответственного перед думой; этого допускать не следует, надо помнить, что парламентская жизнь у нас в самом зародыше,—при самых лучших намерениях тщеславие, желание власти и почета, будут играть не последнюю роль, и, главное, при непонимании парламентского строя, личной зависти и проч. человеческих недостатках министры будут меняться даже чаще чем теперь, хотя это и трудно. Как председатель, так и все министры должны быть выбраны из числа лиц, пользующихся доверием страны и деятельность которых общеизвестна (конечно не исключаются и члены думы). Такое министерство встретит общее сочув-

ствие всех благомыслящих кругов; оно должно представить Тебе подробную программу тех мер, которые должны проводиться в связи с главной задачей момента, т. е. победы над германцами, и включить те реформы, которые могут проводиться попутно, без вреда для главной цели, и которых ждет страна. Программа эта, после одобрения Тобой, должна быть представлена думе и государственному совету, которые, вне сомнения, ее одобрят и дадут полную свою поддержку, без которой работа правительства невозможна; затем, опираясь на одобрение палат и став твердой ногой, и чувствуя за собой поддержку страны, всякие попытки со стороны левых элементов должны быть подавляемы, с чем, я не сомневаюсь, справится сама дума; если же нет, то дума должна быть распущена, и такой роспуск думы будет страной приветствоваться.

Главное условие, чтобы раз установленная программа ни в коем случае не менялась, и правительство должно быть уверено, что никакие побочные влияния на Тебя повлиять не могут, и что Ты всей своей неограниченной властью будешь свое же правительство поддерживать. Теперь замечается как раз обратное:—ни один министр не может отвечать за следующий день, все разрознены; министрами назначаются люди со стороны, которые никаким доверием не пользуются и, вероятно, сами удивляются, что попадают в министры, но так как людей честных вообще мало, то у них не хватает смелости сознаться перед Тобой, что они не способны занимать посты, на которые назначаются, и что их назначение для общего дела приносит только вред, их поступки гра-

ничат с преступлением. 1 Января 1917 г.—Первую часть письма писал в вагоне по пути в Киев,—до сегоднешнего дня был так занят, что не было свободной минуты. Состоявшиеся с тех пор назначения, показывают, что Ты окончательно решил вести внутреннюю политику, идущую в полный разрез с желаниями всех Твоих верноподданных; эта политика только на руку левым элементам, для которых положение „чем хуже, тем лучше", составляет главную задачу; так как недовольство растет, начинает пошатываться даже монархический принцип, и отстаивающие идею, что Россия без царя существовать не может, не имеют почвы под ногами, так как факты развала и произвола налицо; продолжаться так долго такое положение не может; опять повторяю: нельзя править страной не прислушиваясь к голосу народному, не идя навстречу его нуждам, не считая его способным иметь собственное мнение, не желая признавать, что народ свои нужды сам понимает. Сколько ни думал, не могу понять с чем Ты и Твои советники борятся, чего добиваются. Я имел два продолжительных разговора с Протопоповым: он все время говорил о крепкой власти, о недопустимости уступок общественному мнению, о том, что земский и городской союзы, а также военнопромышленные комитеты суть организации революционные; если бы его слова отвечали истине, то спасения нет, но, к счастью, это не так, и конечно, нельзя отрицать, что в этих организациях существуют левые, но ведь масса не революционна,—и вот мерами запрещений, разных стеснений и подозрений искусственно толкают нетвердых в своих убеждениях людей в лагерь левых.

Можно подумать, что какая то невидимая рука направляет всю политику так, чтобы победа стала немыслима. Тот же Протопопов мне говорил, что можно опереться на промышленные круги, на капитал; какая ошибка! Во первых он забывает, что капитал находится в руках иностранцев и евреев, для которых крушение монархии желательно,—тогда не будет препятствий для их хищнических аппетитов, а затем наше купечество ведь не то, что было прежде: достаточно вспомнить 1905 год.

Когда подумаешь, что Ты несколькими словами и росчерком пера мог бы все успокоить, дать стране то, чего она жаждет, т. е. правительство доверия и широкую свободу общественным силам, при строгом контроле, конечно, что Дума, как один человек пошла бы за таким правительством, что произошел бы громадный подъем всех сил народных, а, следовательно, и несомненная победа, то становится невыносимо больно, что нет людей, которым бы Ты доверял, но людям, понимающим положение, а не таким, которые только подлаживаются под что то непонятное.—25 января: Как видишь прошел месяц, а письмо мое я еще не послал, все надеялся, что Ты пойдешь по пути, который Тебе указывают люди верные Тебе и любящие Россию не за страх, а за совесть. Но события показывают, что Твои советники продолжают вести Россию и Тебя к верной гибели; при таких условиях молчать является преступным перед Богом, Тобой и Россией.

Недовольство ростет с большой быстротой и чем дальше, тем шире становится пропасть между Тобой и Твоим народом.—Когда я говорю: народом, я

понимаю в смысле тех, которые понимают нужды народные, а не тех, которые представляют из себя стадо, которое пойдет за человеком сумеющим увлечь толпу. Между тем народ Тебя любит и глубоко верит в достижимость полной победы и внутреннего устроения без всяких потрясений, но при условии существования правительства, состоящего из лиц чистых и пользующихся доверием страны; без этого нет надежды на спасение Престола и, следовательно, Родины.

Посмотри, что делается в союзных нам странах: править государствами призваны самые способные люди, без различия их убеждений; ведь все сознают, что в минуту, когда решается судьба мира, когда от победоносного окончания войны той или другой стороны, зависит самое свободное существование целых государств, что в такую минуту нет места ни личным симпатиям, ни интересам тех или других партий, есть одно,—призыв всех наиболее способных людей к делу спасения родины, именно: к спасению родины; вопрос ведь в самом бытии России, как великой могущественной державы. Ведь никогда в истории Российского государства не было более благоприятных политических условий: с нами наш бывший исконный враг Англия, недавний—Япония и все другие государства, которые видят и чувствуют всю силу нашу и в то же время присутствуют при совершенно необъяснимом явлении, нашем полном внутреннем нестроении, которое с каждым днем ухудшается, и видят, что не лучшие, а худшие силы правят Россией в такой момент, когда ошибки сделанные сегодня, отразятся на всей истории нашей,

и они невольно начинают в нас сомневаться: они видят, что Россия собственных своих интересов и задач не сознает, т. е. скорее не Россия, а те, которые ею правят.

Такое положение продолжаться не может. Ты, вероятно, читал обращение к Тебе новгородского дворянства; ведь так можно говорить только тогда, когда глубоко сознаешь ту пропасть, на краю которой мы стоим, и уверяю Тебя, что все Тебе истинноверные люди именно так и думают. Приходишь в полное отчаяние, что Ты не хочешь внять голосам тех, которые знают, в каком положении находится Россия, и советуют принять меры, которые должны вывести нас из хаоса, в котором мы все сегодня находимся.

Ты, вероятно, думаешь, что те меры, которые принимает правительство, выведут Россию на светлый путь, на путь победы и полного возрождения, и считаешь, что мы все, которые держимся обратного мнения, заблуждаемся, но ведь для проверки оглянись назад и сравни положение России в начале войны и сегодня,—неужели это сравнение не может убедить Тебя, на чьей стороне правда? В заключение скажу, что как это ни странно, но правительство есть сегодня тот орган, который подготовляет революцию; народ ее не хочет, но правительство употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно больше недовольных, и вполне в этом успевает. Мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не снизу.

Твой верный *(подпись).*

Приложение. II.

Записка, составленная в кружке Римского-Корсакова и переданная Николаю II кн. Голицыным в ноябре 1916 года.

Так как в настоящее время уже не представляется сомнений в том, что Государственная Дума при поддержке, так называемых, общественных организаций вступает на явно революционный путь, ближайшим последствием чего, по возобновлении ее сессии, явится искание ею содействия мятежно настроенных масс, а затем ряд активных выступлений в сторону государственного, а, весьма вероятно, и династического переворота, надлежит теперь же подготовить, а в нужный момент незамедлительно осуществить ряд совершенно определенных и решительных мероприятий, клонящихся к подавлению мятежа, а именно:

I. Назначить на высшие государственные посты министров, главноуправляющих и на высшие командные тыловые должности по военному ведомству (начальников округов военных генерал - губернаторов) лиц, не только известных своей издавна засвидетельствованной и ничем непоколебленной и незаподозренной преданностью Единой Царской Самодержавной власти, но и способных решительно и без колебаний на борьбу с наступающим мятежом и анархией; в сем отношении они должны быть единомышленны и твердо убеждены в

том, что никакая иная примирительная политика невозможна. Они должны, кроме того, клятвенно засвидетельствовать перед лицом Монарха свою готовность пасть в предстоящей борьбе, заранее на сей случай указать своих заместителей, а от Монарха получить всю полноту власти.

II. Государственная Дума должна быть немедленно Манифестом Государя Императора распущена без указания срока нового ее созыва, но с определенным упоминанием о предстоящем коренном изменении некоторых статей (86, 87, 111 и 112) Основных Законов и Положений о выборах в Государственный Совет и Думу.

III. В обеих столицах, а равно в больших городах, где возможно ожидать особенно острых выступлений революционной толпы, должно быть тотчас же фактически введено военное положение (а если нужно то и осадное) со всеми его последствиями до полевых судов включительно.

IV. Имеющаяся в Петрограде военная сила в виде запасных баталионов, гвардейских, пехотных полков представляется вполне достаточной для подавления мятежа; однако, баталионы эти должны быть заблаговременно снабжены пулеметами и соответствующей артиллерией. В Москву должны быть отправлены некоторые из этих же баталионов, а в столицы и в крупные центры, кроме того, поставлены те из имеющихся запасных кавалерийских частей, кои являются наиболее способными.

Все находящиеся в отпусках или командировках, либо числящиеся эвакуированными офицеры гвардии должны вступить в ряды своих баталионов.

V. Тотчас же должны быть закрыты все органы левой и революционной печати и приняты все меры к усилению правых газет и к немедленному привлечению на сторону правительства хотя бы одного из крупных умеренных газетных предприятий.

VI. Все заводы, мастерские и предприятия, работающие на оборону, должны быть милитаризированы с перечислением всех рабочих, пользующихся, так называемой, отсрочкой в разряд призванных под знамена и с подчинением их всем законам военного времени.

VII. Во все главные и местные комитеты союзов земств и городов, во все их отделы, а равно во все военнопромышленные комитеты и во все содержимые сими учреждениями заведения, мастерские, лазареты, поезда и проч. должны быть назначены в тылу правительственные комиссары, а на фронт коменданты из эвакуированных офицеров для наблюдения за расходованием отпускаемых казною сумм и для совершенного пресечения революционной пропаганды среди нижних чинов со стороны личного состава, который должен быть подчинен указанным агентам правительства.

VIII. Всем генерал-губернаторам, губернаторам и представителям высшей администрации в провинции должно быть предоставлено право

немедленного собственной властью удаления от должности тех чинов всех рангов и ведомств, кои оказались бы участниками антиправительственных выступлений, либо проявили в сем отношении слабость или растерянность.

IX. Государственный Совет остается впредь до общего пересмотра основных и выборных законов и окончания войны, но все исходящие из него законопроекты впредь представляются на Высочайшее благоусмотрение с мнением большинства и меньшинства. Самый состав его должен быть обновлен таким образом, чтобы в числе назначенных по Высочайшему повелению лиц не было ни одного из участников, так называемого, прогрессивного блока. [1]

---

[1] Записка без подписи. С. Белецкий объясняет, что она составлена в кружке Римского-Корсакова во времена Штюрмера, который не подал ее царю, боясь, что она не отвечает либеральному настроению его декларации. Записка была вторично отпечатана и передана Голицыну, который, в последние дни Штюрмеровского премьерства, передал ее царю от себя.

Приложение III.

Объяснительная записка к пункту II предъидущей записки, составленной в кружке Римского-Корсакова.

Будет ли собрана Государственная Дума в январе, будет ли она вновь распущена, будут ли продлены ее полномичия или назначены новые выборы, положение останется столь же нетерпимым и столь же опасным, как и в настоящее время, как и в течение всех последних десяти лет. Оно, несомненно, будет даже ухудшаться с каждым днем, и перед Монархом и правительством будет стоять все та же трудно разрешимая задача: остановить ли решительными мерами поступательное движение России в сторону демократической республики, либо положиться на Волю Божию и спокойно ожидать государственной катастрофы. В обществе и даже в среде самого правительства последних лет в этом отношении существует довольно прочно установившееся убеждение, что стоит Монарху даровать действительные, настоящие конституционные права и гарантии, пойти навстречу заявленным требованиям об ответственном министерстве, принести за Себя или за Своего Наследника присягу на верность конституции, и тотчас же настанут для России светлые дни, все сразу успокоится, а умеренные партии законодательных учреждений, только к этому одному и стремящиеся, выведут государство из этого тупика, в который оно поставлено нерешительной и непоследова-

тельной политикой правительства. Такого рода мнение совершенно ошибочно, и вовсе не по тому одному, как думают некоторые из представителей противоположного течения мыслей, что цели этих умеренно-либеральных партий, кадетов и октябристов, идут гораздо дальше фактического захвата ими власти. Эти партии, быть может, и действительно вполне искренно примирились бы с правительством, ими поставленным, и удовлетворились бы достигнутым результатом своей многолетней борьбы.

Но дело в том, что сами эти элементы столь слабы, столь разрознены и, надо говорить прямо, столь бездарны, что торжество их было бы столь кратковременно, сколь и непрочно. Наиболее сильной и деятельной из них является партия кадетов, ведущая в поводу все остальные; но если приглядеться к ней не в смысле писанных программ, а в смысле бытовых черт самого ее существования и последовательного хода ее возникновения, то придется признать, что эта партия сильна лишь своей слабостью. Нося название демократической, а сама по себе в составе своем чисто буржуазная, она должна была, не имея собственной почвы, принять навязанные ей слева лозунги народоправства и отрицания собственности. Имея в составе своем значительное число, так называемых, земских деятелей, владельцев земли, кадетская партия первым пунктом своей программы поставила отчуждение земли, окончательное разорение собственных своих сочленов; конечно, руководители ее не были искренни в этом случае и к этому вовсе не стремились, весьма охотно выпустив этот пункт из программы созданного и руководимого ими про-

грессивного блока, но не является ли это лучшим доказательством того, что они не верят в собственное свое самостоятельное существование и ищут сочувствия извне путем уступок и жертв; без этого сочувствия слева, без этих козырей из чужой, не ихней колоды карт, кадеты есть не более как многочисленное сообщество либеральных адвокатов [1]), профессоров и чиновников разных ведомств—и ничего более.

Еще меньше можно назвать политической партией партию октябристов, в самой Думе уже расколовшуюся на разные оттенки, партию искусственно созданную на лозунгах Манифеста 17 Октября для многих спорного и ни для кого не ясного. Слабость ее заключается уже не в том, что она приняла чуждые ей лозунги, а в том, что их у нее нет вовсе; и не видели ли мы самых разительных примеров того, как люди, называющие себя октябристами, перебегали из одного лагеря в другой, легко и свободно меняя свои убеждения в зависимости от временных обстоятельств, колебаний правительственной политики, а еще чаще совершенно личных побуждений. Прав был один из правых ораторов в Думе, сказавший, что стоит сжечь одну помещичью усадьбу, чтобы превратить сотню октябристов в правых, и достаточно обойти наградами к 6 Декабря несколько видных либеральных чиновников, чтобы сделать из октябристов кадетов.

Что же можно сказать, наконец, о так называемом центре, или о прогрессивных националистах. Воз-

[1]) Слово «адвокатов» вставлено в подлиннике рукой Н. Маклакова.

можно ли назвать политической партией этих людей, сегодня довольных начальством и прошедших в Думу по правым спискам за счет правых партий, а завтра огорченных увольнением князя Щербатова и тотчас забывших, кто они именно такие. И этот центр и эти либеральные националисты не являют ли они столь же убедительный пример того, сколь смешны и ничтожны деления русских людей на политические партии. Сколь еще младенческая страна Россия в политическом отношении. Явные и наиболее яркие антисемиты юго-западного края прошедшие голосами и грошами низов, ненавидящих евреев вплоть до погромов, с непоколебимой уверенностью в легальности своей позиции, как народных избранников, подписывают программу прогрессивного блока, где одним из пунктов стоит еврейское равноправие.

Или что можно сказать про украшающих высшее Государственное Законодательное Учреждение сановников, бывших министров, даже премьеров, превознесенных милостями Монарха и Им одаренных свыше меры, поставленных Им здесь на защиту Его прав и прав Его Наследников,—сановников, участвующих в прогрессивном блоке и подписывающих резолюции, клонящиеся к узурпированию этих прав, к скомпрометированию Самого Царского Имени? Что можно сказать про придворных чинов, кичащихся своим мундиром и званием перед простыми смертными и в то же время братающихся с явными и откровенными врагами Своего Государя? А семидесятилетний сановник, всю долгую жизнь на разных постах утверждавший принципы Царского Самодержавия,

переходящий к левым в верхней палате из-за неизбрания его правыми в какую-то комиссию?

Где предел этой политической невоспитанности?

Надо признать, что и правые партии находятся в состоянии летаргии. Обыкновенно посылаемый им упрек в бездеятельности и отсутствии программы, едва ли, однако, справедлив, и вся вина их заключается в том, что они сразу и бесповоротно не устранили себя от участия в осуществлении Манифеста 17 Октября, основанного на началах, совершенно противоречащих их государственному самосознанию. Что могли они сделать и что сказать, когда с высоты Престола провозглашена была ломка тех устоев, которыми держалась Россия до сих пор и без которых она, по их мнению, должна погибнуть? Много ли им давала та неопределенность выражений, туманность некоторых пунктов основных законов, допускавших некоторую возможность разноречивых толкований? Правые сделали все, что могли: они содействовали проведению в третью и четвертую Думы более умеренных элементов, они сами не боялись ни травли, ни унижений, но могли ли они дать стране политическое воспитание, могли ли сами образовать политическую партию с определенной программой,—они, люди, отрицающие эту политику, защитники Единой Царской Самодержавной Власти? С ними сбылось то, чего надо было ожидать: в условиях политической борьбы они оказались разбитыми, рассеянными и не признанными той самой властью, которая только на них одних могла опираться.

Совершенно иное положение партий левых: трудовиков, социал-демократов, вплоть до социал-рево-

люционеров. Не смотря на совершенную нелепость их настоящих представителей в Думе, не смотря даже на то, что нет такого социал-демократа или социал-революционера, из которого за несколько сот рублей нельзя было бы сделать агента охранного отделения, опасность и силу этих партий составляет то, что у них есть идея, есть деньги и есть толпа, готовая и хорошо организованная. Эта толпа часто меняет свои политические устремления, с тем же увлечением поет „Боже Царя храни", как и орет „Долой Самодержавие", но в ненависти к имущим классам, в завистливом порыве разделить чужое богатство, в так называемой классовой борьбе толпа эта крепка и постоянна; она в праве притом рассчитывать на сочувствие подавляющего большинства крестьянства, которое пойдет за пролетарием тотчас же, как революционные вожди укажут им на чужую землю. 1905 и 1906 годы с достаточной убедительностью уже показали, что, яростный защитник своей собственности и такой же консерватор в своем быту, русский мужик делается самым убежденным социал-демократом с той минуты, когда дело коснется чужого добра.

Итак, при полной, почти хаотической, незрелости русского общества в политическом отношении объявление действительной конституции привело бы к тому, что более устойчивые и сильные политические партии и течения, имея благоприятную под собою почву в самых конституционных гарантиях, тотчас стали бы поглощать партии менее жизненные и сильные, и приобрели бы преимущественное влияние на дальнейшие судьбы государства. Можно без всякого преувеличения сказать, что обнародование

такого акта сопровождалось бы прежде всего, конечно, полным и окончательным разгромом партий правых и постепенным поглощением партий промежуточных: центра, либеральных консерваторов, октябристов и прогрессистов партией кадетов, которая по началу и получила бы решающее значение. Но и кадетам грозила бы та же участь. При выборах в пятую Думу эти последние, бессильные в борьбе с левыми и тотчас утратившие все свое влияние, если бы вздумали итти против них, оказались бы вытесненными и разбитыми своими же друзьями слева (как и было, напр., в некоторых губерниях при выборах во вторую Думу). А затем.... Затем выступила бы революционая толпа, коммуна, гибель династии, погромы имущественных классов и, наконец, мужик-разбойник. Можно бы итти в этих предсказаниях и дальше и после совершенной анархии и поголовной резни увидеть на горизонте будущей России восстановление Самодержавной Царской, но уже мужичьей власти в лице нового Царя, будь то Пугачев или Стенька Разин, но, понятно, что такие перспективы уже заслоняются предвидением вражеского нашествия и раздела между соседями самого Государства Российского, коему уготована была бы судьба Галиции или Хорватской Руси.

Поэтому все надежды на то, что с объявлением действительной русской конституции все успокоится, кажутся столь же наивными, как и наивно и утверждение, что, Бог даст, и так все само собой образуется как-нибудь.

Ничего не может образоваться из неудачно задуманной и еще более неудачно осуществленной 10 лет

тому назад реформы, и если дальнейшие по этому пути уступки, завершенные обнародованием конституции, приведут к катастрофе, то и оставление в этом же положении, как и в настоящее время, Государственной Думы с периодическим свидетельствованием ей доверия и недоверия, с признанием неосуществимой возможности правительству работать с Думой и с перемежающими эту, будто бы плодотворную работу ее роспусками доведет к тому же, продлив только срок этой агонии и подорвав в народе веру в силу и правду Монарха.

В чем же заключаются недостатки реформы 1906 года? Их столь много, что скорей можно было бы спросить, в чем заключаются ее достоинства. Но в числе этих дефектов по степени неотложности их исправления и важности в смысле приносимого Государству вреда необходимо выделить два основных капитальных положения: соблазнительную неясность и противоречие в основных законах, касающихся прерогатив Верховной Самодержавной Власти и прав законодательных учреждений, и совершенную несостоятельность положений о выборах в Думу.

Как бы ни хитры были истолкования выражения: Самодержец, самое понятие это в глазах народа, кроме значения Всемогущего и никем и никаким законом человеческим, кроме Божьего, не ограниченного Монарха, никакого иного не имеет, а вычеркнуть это слово из основных законов и из ежедневных молитвословий не решились и составители новелл 1906 г. Между тем, ст. 87, 112 и 113 Основных Законов явно умаляют это значение, ставят Царя не только в равноправные отношения с законодательными

учреждениями, но как бы подчиняют Его Волю усмотрению этих последних: проведенный по 87 ст. и Царским Именем опубликованный закон может быть без всякого его рассмотрения отвергнут Думой и Советом и даже просто механически теряет свою силу сам собой в том случае, если правительством в определенный срок в Думу внесен не будет; каждый законопроект, одобренный Думой и Советом, должен быть, по смыслу этих статей, непременно рассмотрен и утвержден или не утвержден Монархом, законопроект же, внесенный в эти учреждения от Имени Монарха правительством, может быть вовсе не рассмотрен законодательными учреждениями, ибо никакого срока им на это не положено, и судьба такого законопроекта в дальнейшем законом не предусмотрена вовсе; даже согласительные комиссии этих двух учреждений как будто бы имеют более прав, чем сам Монарх, ибо им представлена возможность в случае разногласий по отдельным статьям вырабатывать общие согласительные формулы, Монарх же не имеет ни права, ни возможности утвердить закона, хотя бы вызванного совершенной государственной необходимостью, при рассмотрении коего хотя бы в одной статье его разногласие между двумя палатами осталось бы неустраненным. Таким образом, Монарх не является во всех таких случаях Верховным Судией, решителем судьбы важнейших государственных мероприятий, и занимает какую-то связанную формальностью, как бы лишь делопроизводственную позицию.

Этот величайший государственный соблазн должен быть уничтожен и указанные статьи коренным

образом изменены в том смысле, что Монарх, в порядке утверждения рассмотренных палатами законопроектов остается неограниченным и никаких в сем отношении обязательств на него законом не возложено.

Несмотря на все пережитое, а, быть может, благодаря именно этому, формула: „народу мнение, а Царю решение" является единственно приемлемой для России.

Столь же коренным образом должен быть решен вопрос о выборах в Государственную Думу. Печальные результаты выборного закона и неудача поправок его по закону 3 июля 1907 г. объясняется тем, что в положения эти была заложена странная и неисполнимая идея смешать все классы населения Империи в одну общую бесформенную толпу и уже из этой толпы выбрать, так сказать, выудить наиболее способных, толковых и государственно мыслящих людей, производя самый этот отбор сложным и неестественным порядком двух и трехстепенных выборов: как будто бы предполагалось, что надо сначала уничтожить существующие бытовые деления общества и народа и заменить их делениями на политические партии, и забывалось, что реальная Россия вовсе не смешана, что эти бытовые, классовые и сословные грани фактически существуют и достаточно еще крепки, а политических партий нет вовсе или таковые находятся еще в зародыше. Хотели, будто бы, получить не действительных представителей земли русской, а уловить настроение разношерстной толпы в лице ее вожаков, эти настроения наиболее ярко выражающих. Дворян-поме-

щиков смешали, вообще, с земледельцами и духовенством, купцов с чиновниками и интелигентами, крестьян домохозяев с крестьянами пролетариями и даже казаков, с целью совершенно обезличить эту бытовую группу, свалили в одну кучу с иногородними и инородцами; а чтобы эта смесь и вовсе потеряла свое лицо, все эти группы еще раз смешали в губернских собраниях и только здесь разрешили им на предвыборных собраниях, наконец, вновь разделиться, но уже не так, как разделил их тысячелетний быт и история, а так, как хотелось этого незрелой мысли политических авантюристов. Сначала надеялись, что поддерживать правительство будут крестьяне, затем стали искать опоры у землевладельцев и во всех горько разочаровались, ибо вместо крестьян получили трудовиков, а вместо помещиков левых октябристов—лидеров партий, только вчера образовавшихся на предвыборном сборище, людей в этот день первый раз встретившихся друг с другом.

На сельских сходах в небольших городах и в уездных собраниях землевладельцев, эти лидеры проходили более или менее случайно и здесь не имели еще решающего успеха, а в число выборщиков попадали в большинстве люди не партийные, и, быть может, действительно заслуживающие всей своей прежней деятельностью доверие своих избирателей, но в губернии они решительно теряли все свои шансы, и у ораторов, лидеров партий, являлись перед ними неоцененные преимущества,—ни тех, ни других чужие города и уезды не знали, и видели, быть может, в глаза в первый раз в жизни, но первые

скромно молчали, а вторые говорили зажигательные речи и угадывали настроение; созданные не бытом и даже не существующими еще политическими партиями, а этими настроениями, эти новые решители судеб России и в дальнейшей своей деятельности в Государственной Думе подчинялись не местным интересам и не политическим лозунгам, а именно, настроениям: в первой Думе они олицетворяли настроение революционной толпы, ошеломленной неудачами Японской войны, во второй—настроение крестьянских масс, требовавших чужой земли и воли грабить чужое имущество, в третьей—настроение испуганных погромами помещиков, а в четвертой—настроение этих же помещиков уже успокоившихся и уже снова недовольных правительством. Если бы пятая Дума была созвана в 1917 году по действующему положению, можно с уверенностью утверждать, что в нее попали бы те, которые особенно горячо и нервно стали бы кликушествовать и раздувать всякие легенды и небылицы о Распутине.

Ясно, что выборы должны быть одностепенные, непосредственные от городских и уездных бытовых и сословных групп. Иначе говоря, каждое волостное крестьянское общество, уездное дворянское собрание, собрания купеческие, мещанские, уездное духовенство, казачьи станицы, городское чиновничество и т. д. должны выбрать каждое по одному своему представителю и этим избранием вся процедура выборов должна быть закончена. Так как, очевидно, в каждой губернии число таким образом избранных в кандидаты будет значительно превышать

число положенных от каждой из них членов Думы и из избранных от каждой из перечисленных групп придется призвать лишь незначительную часть, то необходимо установить дальнейший порядок их отбора и утверждения, быть может, по жребию, а всего лучше по Высочайшему соизволению, подобно тому как ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР утверждает, напр., одно из избранных в губернские предводители дворянства двух лиц; остальные оставались бы кандидатами и, в случае выбытия членов Думы, замещали бы сих последних в том же порядке утверждения или призвания их Высочайшей Волей. Такой порядок, кроме непосредственности дешевизны, простоты и устранения всех вредных последствий смешения обывателей, дал бы, кроме того, возможность устранить от участия в законодательной деятельности элементы нежелательные и вредные без всякого права для этих последних какой либо претензии, ибо вполне ясно, что говорить от имени напр., крестьянства с одинаковым правом может и тот, кто был избран от Ивановского схода и не утвержден и тот, кто выбран Петровским сходом и утверждение получил.

Не входя в дальнейшие подробности указанного порядка, необходимо, однако, остановиться на одном обстоятельстве, до сего времени совершенно упускаемом из вида правительством. Последнее, за исключением лишь слабых попыток времен Столыпина, не вело в Думе или, верней сказать, с Думой никакой политики. Политику эту, конечно, надо понимать не в смысле подслуживания к Думе или, так называемого доверия, до сих пор дававшего столь

печальные результаты, ни, тем более, каких либо уступок и поблажек, клонящихся к укреплению сознания, что ей, Думе, принадлежит первенствующая роль в государственном управлении. Однако, и такое положение, при котором собранные с разных концов земли несколько сот человек оставляются на произвол собственных страстей и интриг, без всякой заботы о том, что из этого выйдет, положение, которое существует ныне, является совершенно ненормальным.

Правительство во что бы то ни стало должно иметь большинство в Думе и к созданию этого большинства должно относиться с величайшей ревностью и притом без всяких иллюзий и предубеждений. В ближайшем прошлом возможность создания прогрессивного блока надо поставить в тяжкую вину правительству, ровно ничего не сделавшему в предупреждение его образования. Что сделало оно вообще в смысле укрепления и численного увеличения правых партий в Думе, чем поощрало людей действительно преданных Монарху и готовых защитить Его правительство? В лучшем случае выдавало грошовую субсидию внедумским правым органам печати, иногда после десятилетней деятельности, многолетней голгофы, предлагало место Акмолинского вице-губернатора и, если не выражало явного пренебрежения к правому крылу Думы, то, во всяком случае, проявляло к нему значительную долю равнодушия, тем самым как бы наперед предупреждая колеблющихся, что ждать каких либо поощрений им нечего. Чем старались удержать на правых скамьях таких господ, как напр., Савенко? Ровно ничем,

и скорей поощряло их переход на лево, в то время когда их можно было брать голыми руками. Надо говорить откровенно: помыслы и действия правительства были слишком чисты, нелицеприятны и нисколько не соответствовали ни нравственному уровню, ни стремлениям той среды, с которой оно имело дело; все его руководители, даже сами вышедшие из рядов правых партий, стремились только убедить, уговорить Думу, переспорить ее и вовсе не заботились о том, чтобы собрать, если нужно, создать и укрепить за собой послушное большинство. Кроме бесцельных и скучнейших раутов с приглашением нескольких сот человек без всякого разбора, никаких попыток в сем отношении сделано не было, а в грозную силу общественности правительство верило больше, чем верила она сама себе, и вовсе не хотело понять, что никакой общественности в России нет, а есть лишь в разных видах чиновники спо-способные и удачные, получающие соответствующие награды и содержание от казны, и есть чиновники менее способные и неудачливые, от казны содержание не получающие, но к нему, равно как и к денежным и иным наградам, ревнивые не менее первых.

В распоряжении Председателя Совета Министров должно состоять особое лицо, особая и притом серьезно поставленная организация и крупный специальный фонд для ведения внутренней политики в самой Думе с единственной целью создания и поддержания прочного и постоянного большинства благоприятного правительству.

Приложение IV.

Письмо Н. А. Маклакова Николаю II во второй половине декабря 1916 года.

Заключенного в крепости
Николая Маклакова.

Согласно предложению Вашего Превосходительства вчера 22-го Августа мне сделанному, я воспроизвожу здесь, поскольку мне позволяет это моя память, письмо мое к Государю Императору, посланное мною в Царское Село 19-го или 20-го Декабря 1916 года.

Я просил Его Величество извинить меня за причиняемое письмом моим беспокойство, но высказывал ту мысль, что сложность и небывалая острота минуты обязывает всякого верноподданного высказать своему Государю всю правду положения. Я счел своим долгом, потому, сказать то, что я вижу и то, что предчувствую. Я указал, что направление занятий Государственной Думы и характер произносимых там с самого начала ноября месяца речей в конец расшатывают остатки уважения к правительственной власти и не могут не отозваться пагубно на настроении армии, читающей подробные отчеты газет о заседаниях Думы. Различные общественные организации, учреждения и группы повсеместно и открыто присоединяются к решительным постановлениям Думы. Заседания Государственного Совета, объединенного дворянства знаменательно-тревожны. Наконец, обращает на себя особое внимание открытая

в Москве подписка на образование фонда для стипендии имени Кн. Ф. Ф. Юсупова. Все это свидетельствует о том, что волна недовольства резко подымается и широко разливается по России, а продовольственные неурядицы, очень волнующие жизнь городов и деревни, подготовляют для общего недовольства исключительно благоприятную почву, которою не преминут воспользоваться враги существующего строя. Здесь, в столице, уже начался штурм власти, и, несомненно, признаки анархии уже показались. Они угрожают всему строю нашему, угрожают и самой династии. А без монархии, которой наша родина на протяжении долгих веков неизменно росла, крепла, ширилась и венчалась, Россия останется как купол без креста. Наступили, я убежден в этом глубоко, решающие дни. Трудно остановить близкую беду, но, думается мне, еще возможно. Для этого надо верить в себя, в непреклонную законность своих прав. Надо перестать правительству расслаблять себя внутренними раздорами и борьбой в своем собственном центре, тогда когда все кругом шатается. Оно должно быть однородно и единодушно, оно должно знать куда оно идет и итти неуклонно, спокойно и решительно восстанавливая разваливающийся порядок. Для успеха этого дела, мне кажется, необходимо было бы отложить возобновление занятий Думы при настоящих условиях, на более отдаленный срок: необходимо было бы тем временем, направить все силы власти везде по России на всяческое и быстрое упорядочение продовольственного дела, как на основную задачу данной минуты; было бы необходимо остановить и

ввести в рамки закона деятельность общественных учреждений все смелее и ярче выступающих в открытое море чистой, широкой политики; необходимо было бы так или иначе оказать действительное влияние на деятельность тех общественных организаций, которые, составляя живую связь между тылом и фронтом и, работая в области, вызывающей, по самому существу своих задач, общее сочувствие, планомерно преследуют в то же время ярко проявленные цели борьбы с властью и бесспорно обозначающиеся и уже едва скрываемые намерения, изменения государственного строя. Вот и все письмо. Думаю, что передаю его содержание очень близко к подлиннику, хотя не поручусь за их полную тождественность, так как после этого я писал еще письмо и проект Манифеста, и в памяти не осталось отчетливых следов всех этих документов в их подробностях. Кончил я письмо извинением за смелость моего обращения и надеждой на то, что оправдает меня серьезность положения, которое замалчивать перед Государем не позволяет мне моя преданность Ему. 23 Августа 1917 года.

Ник. Маклаков.

Приложение V.

Совещание членов прогрессивного блока с А. Д. Протопоповым, устроенное на квартире М. В. Родзянко.

19 октября 1916 года.

Присутствовали: И. И. Дмитрюков, Д. П. Капнист, П. Н. Милюков, Савич, Сверчков, Стемпковский, Чихачев, Шингарев, Н. Д. Крупенский, Шульгин, Б. А. Энгельгардт.

По приезде *Протопопов* обратился с просьбой побеседовать запросто, под условием, чтобы ничто не вышло из этой комнаты. *Милюков* заявил на это, что пора секретов прошла и что он не может дать требуемого обещания, так как должен будет обо всем, что здесь будет происходить доложить фракции.

А. Д. Протопопов. В таком случае я ничего не могу говорить и извиняюсь, что потревожил председателя Гос. Думы и Вас, господа. Что же произошло, что Вы не хотите беседовать по товарищески?

Милюков (вскакивая с места, подходя к креслу П-ва, повышенным тоном):—Вы хотите знать, что произошло? Я Вам скажу:—Человек, который служит вместе со Штюрмером, при котором освобожден Сухомлинов, которого вся страна считает предателем, освобожден Манасевич-Мануйлов; человек, который преследует печать и общественные организации не может быть нашим товарищем. Говорят, при том, об участии Распутина в Вашем назначении.

Протопопов.—Я отвечу по пунктам: что касается Сухомлинова, он не освобожден, а изменена лишь мера пресечения.

Милюков (перебивая его). Он сидит у себя дома под домашним арестом и просит о снятии его.

Протопопов.—Да, печать от меня не зависит. Она в военном ведомстве. Но я ездил к Хабалову и освободил „Речь" от предварительной цензуры. О Распутине я хотел бы ответить, но это секрет, а я здесь должен говорит „для печати". П. Н. закрывает мне рот, чтобы я не мог объясниться с товарищами. Я мог бы ожидать после нашей совместной поездки за-границу, что, по крайне мере, сердце заговорит и смягчит отношения; но, повидимому, я ошибался. Что же делать. Я хотел столковаться, но если этого нельзя и ко мне так враждебно относятся, я принужден буду пойти один.

Шингарев.—Прежде, чем товарищески беседовать, нужно выяснить вопрос, можем ли мы еще быть товарищами. Мы не знаем, каким образом Вы назначены. Слухи указывают на участие в этом деле Распутина; затем Вы вступили в М-ство, главой которого является Штюрмер—человек с определенной репутацией предателя. И Вы не только не отгородились от него, но напротив, из Ваших интервью мы знаем, что вы заявили, что ваша программа Штюрмера, и что он будет развивать вашу программу с кафедры Гос. Думы. В Ваше назначение освобожден другой предатель, Сухомлинов, и вы заняли место человека, который удален за то, что не захотел этого сделать. При вас же освобожден Ман.-Мануйлов, личный секретарьШтюрмера, о котором ходят самые

темные слухи. И, наконец, в происходящих теперь рабочих волнениях ваше М-ство по слухам, действует, как прежде, путем провокации, пуская в рабочую среду возможные слухи. Вы явились к нам не в скромном сюртуке, а в мундире жандармского ведомства. Вот обо всем этом мы желали бы слышать от Вас прежде чем определить каковы должны быть наши отношения.

Протопопов.—Я пришел сюда с целью побеседовать с Вами. А теперь выходит, что я присутствую здесь в качестве подсудимого. Притом, вы можете говорить все, что вам угодно, тогда как мне, П. Н. зажал рот своим заявлением, что то, что я скажу, появится завтра в печати. При этих условиях я не могу говорить многих интимных вещей, которые опровергли бы те слухи, которым вы напрасно поверили. Напр., Распутина я видел несколько лет тому назад, при обстановке, совершенно далекой от нынешней. Я личный кандидат государя, которого я теперь узнал ближе и полюбил; но я не могу говорить об интимной стороне этого дела. В Департамент полиции я взял человека мне известного и чистого. Я допрашивал чиновника этого Деп-та Васильева об их приемах; я спросил его строго: Ну, а еще что есть у вас?“ Он отвечал: „Есть сотрудники“.—„А еще?“— Он бледнел и краснел, потом встал предо мной и сказал: „что больше ничего нет“. Провокации у нас теперь нет (голоса: „А роль Курлова при Столыпине?“) Курлова обвиняют напрасно. (Милюков: „А записка Новицкого?) Ну, вот, вы верите разным запискам. Столыпин убит не по его вине. Курлов до убийства его был уже назначен сенатором. Об этом у меня в

столе есть бумаги. Столыпин говорил мне, что ездил со своим начальником охраны потому, что тогда чувствовал себя безопаснее. Что же делать, если оказалось, что много белых мышей и ни одной белой лошади. Много доказательств мошенничества—и ни одной измены.

Шульгин.—Мы все действительно, прежде всего, должны решить вопрос о наших отношениях. Мы все осуждали Вас, и я осуждал публично, и считаю поэтому своим долгом повторить это осуждение в вашем присутствии. Предупреждаю, что доставлю вам несколько тяжелых минут. Мы не знали как думать: или вы мученик если шли „туда“ с целью что нибудь сделать, при явной невозможности сделать что бы то ни было в этой среде. Или вы честолюбец, если вы просто увлеклись блестящим положением, не скрывая от себя, что вы сделать ничего не можете. В какое, в самом деле, положение вы себя поставили. Были люди, которые вас любили, и были многие, которые вас уважали. Теперь..... ваш кредит очень низко пал. Вы отрезали себя от своих единственных людей, которые могли поддержать вас „там“. Этот разговор, который мы ведем теперь, надо было вести *тогда* до того, как вы приняли власть. При этих условиях понятно, почему П. Н. не считает возможным сделать секрета из нашей беседы. Завтра же когда общество узнает, что мы беседовали с вами, оно может предположить, что мы с вами вошли в заговор и мы вас не поддержим, а себя погубим, подобно вам. Я допускаю еще возможность секрета, если бы сегодня мы ни к чему не пришли. Тогда так и можно сказать: говорили,

но ни до чего не договорились. Но, если мы на чем нибудь согласимся, то тогда уже мы обязаны будем сообщить обществу, почему мы нашли возможным согласиться.

Протопопов (раздраженно): Если здесь говорят, что меня больше не уважают, то на это ответ может быть дан не в обществе, а лицом к лицу с пистолетом в руках. Что касается отношения ко мне общества, сужу о нем по моим большим приемам. Туда приходят множество обездоленных и страдающих, и никто еще не уходил без облегчения. *Это* общество меня ценит. За вашей поддержкой я пришел, но ее не нахожу. Что же делать—я пойду дальше один. Ведь меня ни разу даже не пригласили в блок. Я там ни разу не был. (*Милюков*: „Это ваша вина"). Я исполняю желания моего Государя: я всегда признавал себя монархистом. Вы хотите потрясений, перемены режима—но этого вы не добьетесь, тогда как я понемногу, кое что могу сделать. (*Стемпковский*: „Теперь такое положение, что именно вредно сделать кое что"). Это недолго—уйти. Но кому передать власть. Я вижу только одного твердого человека—это Трепов. Для меня мое положение может быть убийственно, но я буду делать, что могу. Отчего вы даже Хвостова встретили лучше, чем встречаете меня?

Милюков.—Я извиняюсь перед товарищами за повышенный тон моего первого выступления. Может быть это, действительно, был крик сердца, последний крик. Я должен признать, что у нас, Ал. Дм., установились, действительно, дружеские отношения во время нашей общей поездки, которые не давали

основания думать, что Протопопов поступит так, как он поступил. Но теперь положение другое. Сердце теперь должно замолчать. Мы здесь не добрые знакомые, а лица с определенным общественным положением: А. Д. для меня теперь министр. А я— представитель определенной партии, привыкшей к политической ответственности. Я собственно не говорил, что то, что сообщит А. Д., завтра попадет в печать, но если бы даже печать захотела сообщить об этом, ведь имеются циркуляры о том, чтобы ничего не писать о министре вн. дел.

Протопопов.—Это меня не касается. Я об этом не знаю. Я, напротив, просил, чтобы не мешали говорить обо мне, что угодно. Общество 1914 года пользуется возмутительным правом шельмовать, кого хочет, и взвело на меня гнусное обвинение, несправедливость которого должна быть особенно ясна тем, кто со мной ездит. Однако „Речь" ни слова не обмолвилась в мою защиту. Но я простил ее нападение на меня. Я выхлопотал освобождение „Речи" от предварительной цензуры. Говорил ли вам Иос. Вл., что благодаря мне „Речь" освобождена?

Милюков.—Нет, этого он не говорил. (*Протопопов* „как не говорил?") Но я полагал, что нет надобности в особом ходатайстве министра, чтобы снять несправедливо наложенную кару. Извиняюсь за это отступление, но я должен пояснить товарищам, что „Речь" была наказана за нарушение циркуляра, который она не успела получить по вине ведомства, не имевшего в своем распоряжении автомобиля. (*Протопопов*: „Нет, мне докладывали, что за статью, в которой „Речь" неуважительно отозвалась о похо-

ронах убитого офицера"). Как бы то ни было, это частность. Я возвращаюсь к своей главной нити. Я не говорил о сообщениях в печати, которая, при всей недостаточности цензурного аппарата, (*Протопопов*:— „Не извращайте моих слов. Цензура, действительно, невежественна и нелепа. Она пропускает то, что не надо, а невинные вещи запрещает. Я теперь добился, чтобы пропустили воззвание Рабочей Группы, очень полезное, которое она все-таки запретила")... достаточно гарантирует положение, когда речь идет о таких вещах, как слова Государя или государственные тайны. Я говорил о том, что раз наше совещание имеет политическое значение, то я не могу молчать о нем перед политическими друзьями (*Протопопов*:— „Дайте слово, что в печати ничего не будет"). Во Франции 40—50, и я никак не могу дать обещание за всех их. Я могу, однако, сказать, что по обычному правилу, мы не сообщаем того, что составляет государственную тайну. И А. Д. достаточно сказать, что именно в его сообщениях имеет такой характер, чтобы оградить себя от распространения. Я перехожу к другому. Почему наша встреча имеет политическое значение и почему назначение А. Д. не похоже на назначение Хвостова. Хвостов, во-первых, принадлежит к политической партии, которая вообще не считается с общественным мнением; а А. Д. вступил во власть не как известная личность, а как член определенных политических сочетаний. На него падал отблеск политического значения той партии, к которой он принадлежит, и того большинства, к которому его причисляли. Его считали членом блока.

Протопопов. — Как товарищ председателя Гос. Думы, я считал долгом быть беспартийным и потому не могу считать себя членом блока.

Д. П. Капнист. Выражает недоумение по поводу такого отношения А. Д. к фракции.

Милюков — Я очень рад этому разъяснению, так как оно значительно упрощает объяснение вступления вашего в м-ство. В этом винили блок; теперь, после вашего разъяснения, блок может на это ссылаться. Но, кроме того, вы были товарищем Председателя Думы, т. е. своего рода лицом представительным. И в этом качестве стали известны за-границей, как председатель нашей делегации.

Протопопов.—Что же, я уронил достоинство делегации?

Милюков.—Нет, *там* не уронили, а уронили *здесь.* Так как из всех ваших выступлений *там,* вовсе не вытекало то, что вы сделали *здесь.*

Протопопов.—Вы не знаете, с каким сочувствием отнеслись за-границей к моему назначению. Я получил приветствия Грея, Дешанеля и т. д.

Милюков.—Вы получили их, не как А. Д., а как человек, на которого падал отблеск, как человек репрезентативный. Что касается сведений иностранной прессы, то мы знаем, как она информируется. И должен сказать, я сам получил впервые сведения о политическом значении вашего назначения тогда, когда прочел телеграмму вашего агентства в Париже. В ней говорилось, что ваше назначение принято сочувственно парламентскими кругами (как оно принято в действительности—вы теперь видите) и что надо

надеяться после этого назначения, что Дума примирительно отнесется к Штюрмеру.

Между прочим, вы за-границей тоже говорили, что вы монархист. Но там я не обратил внимания на это заявление. Мы все, ведь, монархисты. И казалось, что нет надобности этого подчеркивать. Но, когда здесь выкопали это место из ваших заграничных речей и стали восхвалять вас, как монархиста, в таких газетах, как „Русское Знамя" и „Земщина",— тогда я задался вопросом, с которым и обращаюсь к вам: „В каком смысле вы монархист? В том ли, в каком вас хвалят за это „Русское Знамя" и „Земщина", т. е. в смысле неограниченной монархии, или же вы остаетесь сторонником конституционной монархии?" Но тогда зачем было подчеркивать свой монархизм? Я хотел бы, чтобы вы нам объяснили эту двусмысленность.

Протопопов.—Да, я всегда был монархистом. А теперь я узнал лично царя и полюбил его. Не знаю, за что, но и он полюбил меня. (*Капнист.* Не волнуйтесь А. Д.). Да, вам хорошо сидеть там, на вашем кресле, а каково мне на моем. У вас есть графский титул и хорошее состояние, есть связи, а я начал свою карьеру скромным студентом и давал уроки по 50 коп. за урок. Я не имею ничего, кроме личной поддержки Государя, но с этой поддержкой я пойду до конца, как бы вы ко мне ни относились.

Милюков:—Я еще не кончил. Я начал объяснять вам, почему мы иначе отнеслись к Хвостову, чем к вам. Я сказал, что вы были представительным человеком, и, как сказал уже Шульгин, мы должны нести ответственность за вас, тогда как Хвостов был чело-

век чужой, но далее есть и другая разница. Когда был назначен Хвостов, терпение народа еще не окончательно истощилось, и мы считали нужным сдерживаться. Варун-Секрет тогда позвал меня на тайное совещание с Волконским и Хвостовым, и Хвостов сказал мне, что созыв или несозыв Думы будет зависеть от того, будем ли мы говорить о Распутине. (*Протопопов*:—„Вот видите о чем он Вас просил"). Я отвечал, что не могу поручиться за других, но для меня Распутин не самый главный государственный вопрос, и что я буду говорить о вопросах, более важных. Тогда я сохранил секрет этого совещания. Теперь положение совершенно другое. После сентября прошлого года в Думе есть большинство, которого не было при вступлении Хвостова, и у большинства этого есть свое определенное мнение. Правительство поступило наоборот, и мы дошли теперь до момента, когда терпение в стране окончательно истощено и доверие до конца использовано. Теперь нужны чрезвычайные средства, чтобы внушить народу доверие. (*Протопопов*:—„Ответственное министерство! Ну, а этого вы не добьетесь". Голоса: „Нет, министерство доверия!"). И в такой-то момент вы, человек, удостоенный доверием Думы, вступаете в кабинет Штюрмера. В такой момент поддерживать недоразумение, которое может вызвать ваше назначение, невозможно. И вот почему мы теперь и не можем более допустить никаких секретов и недоговоренности, а должны занять относительно вас вполне определенное положение. Между прочим, в ваших словах мне послышались две угрозы: одна относительно „Речи", а другая—относительно Гос.

Думы. Что означает ваше выражение, что вы будете действовать один. Значит ли это, что вы не созовете Думы, как об этом говорят в публике?

Протопопов:—Я не злопамятен и не мстителен. Что касается несозыва Думы—это просто росказни.

Милюков:—По моим сведениям, которые я считаю достоверными, об этом говорили несколько министров.

Протопопов:—Во всяком случае, я в их числе не находился.

Милюков:—Находились, Ал. Дм. (Голоса: „Да. Были слухи именно о вашем мнении по этому поводу").

Протопопов:—Нет, так далеко я не иду. Я сам член Думы и привык работать с Думой. Я был и останусь другом Думы. В вашем отношении ко мне, П. Н., говорит разум, но нет голоса сердца. Ваша супруга отнеслась бы ко мне совершенно иначе. Вот как я к вам отношусь. Хотите, я легализую вашу партию?

Милюков:—При чем тут моя супруга. О моем сердце я уже говорил и повторяю, что мы здесь встречаемся только, как политические деятели.

Шингарев:—А. Д. назвал себя монархистом и говорил о своей любви к царю. Но кроме царя есть Родина. Если царь ошибается и идет неверным путем, опасным для Родины, то обязанность монархиста, любящего царя, сказать ему это. Сказал ли это А. Д.? Этого мы не знаем. А из его образа действий и из высказываемых им взглядов можно заключить противоположное.

Протопопов:—Я мог бы сообщить то, что я говорил царю, и то, что он говорил мне. (Обращаясь к

Родзянко: „неправда ли, Мих. Вл., и вы не считали возможным нам сообщить". *Родзянко:*—„У меня имеются все мои доклады"). *Протопопов:*—Что касается моих слов, то П. Н. говорит, ведь, что все, что я скажу, завтра же будет известно в печати. (*Голоса:* „Он этого не говорил").

Милюков:—Поверьте, что о докладах государю ни один опытный газетчик даже не попробует напечатать, ибо это наверное не пройдет через цензуру. (*Ефремов:*—Я присоединяюсь к заявлению, что это свидание не носит частного характера. Меня пригласил сюда председ. Гос. Думы, как лидера определенной партии, для того, чтобы выслушать то, что имеет сказать Министр Вн. Д. Обо всех политических суждениях, которые будут иметь место в вашем совещании, я сочту своей обязанностью непременно доложить своей фракции). Кроме того, я хотел сказать, по поводу заявления Ал. Дм., что ему не кому передать свою должность, что в настоящее время дело не в лицах. Какое угодно „твердое" лицо, если пойдет в кабинет без программы и без общественной поддержки, ничего сделать не сможет. Положение слишком серьезно, чтобы справляться с ним путем личных перемен. Нужна не перемена лиц, а перемена системы.

Родзянко:—В последних словах Пав. Ник. заключается глубокая истина. Я совершенно согласен с тем, что нужна перемена режима, и могу вас уверить, Ал. Дм., что то, что вы здесь выслушали, составляет общее мнение всех присутствующих членов Думы, без исключения, и ни в ком не вызовет возражений. Нет никого здесь, кто бы думал иначе.

Протопопов переходит после этого к обсуждению продовольственного вопроса, открывает портфель и вынимает оттуда две бумаги: записку на четырех страницах, написанную В. В. Ковалевским о положении продовольственного дела, и свой проект, внесенный в Совет Министров. Затем он говорит: „Государь сказал мне, что хочет видеть во главе продовольственного дела лично меня. В последний раз он спросил меня: „Уверены ли вы, что вы с этим делом сладите? Имеется ли для этого достаточно сил в вашем ведомстве“? Я ответил: (закатывает глаза к небу): „Я употреблю все мои усилия, чтобы вывести страну из тяжелого положения“. А положение вот какое:—(читает по записке Ковалевского, прибавляя почти на каждой фразе: „Это государственная тайна. *Милюков* неоднократно отвечает: „Это общеизвестно“. „Все это мы слышали в бюджетной комиссии“. „Это было напечатано два дня тому назад в газетах“).

Протопопов развивает свою теорию свободного почина, читает проект. *И. И. Капнист* (член особого совещания по продовольственному делу) „рассказывает Протопопову, как Совещание и министерство земледелия, нехотя и упираясь, пришло к принудительным мерам, как теперь уже поздно и невозможно менять систему, как опасно производить любительские эксперименты. Он указывает, что худший элемент в составе персонала, обслуживающего продовольствие, суть губернаторы и чиновники министерства внутренних дел, что их надо удалить и тогда останется опытный и хороший персонал. Земство же нельзя принудить работать на министерство.

Доходит очередь до Милюкова. Но тут Протопопов объявляет, что уже поздно: он устал и не может долее участвовать в прениях. Все встают с мест. Милюков говорит, обращаясь лично к Протопопову:

„Все это надо было сказать в бюджетной комиссии. Если бы вы там присутствовали сами при подробных объяснениях ведомств, то поняли бы, что шпаргалка, составленная для вас Ковалевским, есть просто односторонний обвинительный акт с надерганными тенденциозно фактами.

И. И. Капнист подходит к Протопопову и убеждающим тоном говорит: „Ал.Дм., откажитесь от вашего поста. „*Милюков:*„ Вы ведете на гибель Россию". *Протопопов:* „Я сам земец, и земства пойдут со мной". *Голоса:* „Не пойдут, Ал. Дм.". После нескольких минут общего разговора по кружкам, раздаются голоса „Ал. Дм. „идите спать". *Шингарев:* „Я могу вам на прощанье дать медицинский совет: „Ложитесь спать и отдохните". *Протопопов*, уходя и прощаясь: „Господа, я сделал опыт соглашения и, к сожалению, неудачный. Это моя последняя попытка. Что же делать".

Раньше в разговоре А. Д. объяснял, что он получил право до января переводить губернаторов на пенсию в 5000 р., а вице-губернаторов—на 3000.

Приложение VI.

Последний всеподданнейший доклад М. В. Родзянко.

(10 февраля 1917 года)

14-го февраля предстоит возобновление занятий Государственной Думы, поэтому позвольте мне, Государь, высказать мои соображения о линии возможного ее поведения и мотивировать его.

Одиннадцать лет существования Государственной Думы и одиннадцать лет непрерывной борьбы между правительством и теми, кто отстаивает новый конституционный строй.

В первый период русской жизни при новом строе бюрократическое правительство имело значительное количество сторонников. В то время правительство поддержанное значительным большинством, имело основание своего критического отношения к Государственной Думе первого и второго созывов, так как разногласие между правительством и народными представителями касалось коренных вопросов и, кроме того, со стороны народного представительства было предъявлено требование ответственного министерства, как следствия, вытекающего из манифеста 17 октября

Необходимо, тем не менее, отметить, что этот лозунг раздался после того, как правительство выступило в Государственной Думе с ответом на всеподданнейший адрес в агрессивном тоне.

Далека от этих стремлений была Государственная Дума третьего созыва, и еще менее заслуживает этого упрека Государственная Дума нынешнего созыва, которую война заставила отказаться от всяких партийных лозунгов и программ. Ее единственной целью было объединение всех сил для успешной борьбы с врагом.

В это же время правительство испугалось этого могучего общественного порыва, видя в нем стремление к захвату власти и, в целях предотвращения этого, не только не постаралось использовать этот общественный подъем, но всячески стремилось погасить его.

Этим способом, который имел свои реальные последствия, в смысле расстройства нашего тыла, правительство с каждым днем утрачивало своих сторонников и в настоящее время оно насчитывает их отдельными единицами. Образовалось два лагеря—на одной стороне правительство и на другой стороне страна.

Война показала, что без участия народа страной править нельзя.

В тягчайшее время наших военных испытаний (отход наших войск из Галиции) пришлось прибегнуть к содействию народных представителей. Дума сумела поддержать бодрость духа и возбудить общественную самодеятельность до степени тех результатов, которые достигнуты в деле снабжения армии.

Эта заслуга Государственной Думы была учтена страной, эту заслугу почувствовала и оценила армия, которая и в настоящее время чутко прислушивается ко всему, что происходит у нас в тылу.

Мы подходим к последнему акту мировой трагедии в сознании, что счастливый конец для нас может быть достигнут лишь при условии самого тесного единения власти с народом во всех областях государственной жизни. К сожалению, в настоящее время этого нет, и без коренного изменения всей системы управления быть не может. Это убеждение не только нас, членов Государственной Думы, но в настоящее время это убеждение и всей мыслящей России, ибо недоверие правительства к общественным силам, ревнивое и недоброжелательное отношение к ним и умышленные препятствия, чинимые в их энергичной патриотической работе, естественно не могут вселить в стране доверие к такому правительству и служить залогом счастливого окончания войны.

Россия объята тревогой, эта тревога не только естественна, но и является совершенно необходимой. Она вылилась в многочисленных резолюциях, известных уже Вашему Величеству. К вам неоднократно доносилась мольба о том, что надо спасать отечество, которое находится в опасности исключительно вследствие коренного разногласия между народом и правительством и взаимного их непонимания друг друга.

Мы видим, как во время войны перестроилась власть соответственно с требованиями момента у наших союзников, и каких огромных результатов достигли они этой мерой. Что же в это время делаем мы? В то время, как вся Россия сумела сплотиться воедино, отбросив в сторону все свои разногласия, правительство в своей среде не сумело даже сплотиться, а единение страны вселило даже в него страх. Оно не

только не изменило своих методов управления, но и вспомнило свою старую, уже давно отжившую систему. С прежней силой возобновились аресты, высылки, притеснения печати. Под подозрением находятся даже те элементы, на которые раньше всегда опиралось правительство, под подозрением вся Россия.

Создавшееся единение правительство стремится разрушить. Запрещая деловые съезды всевозможных общественных организаций, правительство вместе с тем разрешает съезды, так называемых, монархических организаций, очевидно, с специальною целью возбудить партийный раздор.

Неужели же этими мерами можно достигнуть благополучного конца? Неужели же эти меры могут изменить настроение и успокоить тревогу? Меры эти оскорбительны и являются нечем иным, как вызовом обществу, а, следовательно, и результаты их будут совершенно обратные. Раздражения, внесенные в слои населения, будут усугубляться по мере того, как самые меры, принимаемые правительством в этом отношении, становятся все более крутыми. Этим правительство окончательно подрывает свой авторитет.

Этого авторитета у правительственной власти уже нет, и бюрократическому правительству не удастся его более приобрести после печального и неудачного опыта править страной в тяжелые годины ее существования, не умея приспособляться ни к нуждам, ни к настроению страны.

Я с горечью должен отметить, что тревога эта передалась и нашим союзникам после того, как делегации имели возможность во-очию убедиться в справедливости причин, вызывающих нашу тревогу.

Чувствуя возможность приближения окончания войны, тревога наша усиливается, так как мы сознаем, что в момент мирных переговоров страна может быть сильна в своих требованиях только при том условии, когда у нее будет правительство, опирающееся на народное доверие. Без этого условия на этой конференции наш голос будет слабый, и мы не сможем пожать тех плодов, которые достойны будут принесенных нами жертв.

Эта наша тревога усугубляется еще тем, что расстройство тыла угрожает нам возможностью беспорядков на почве продовольственной разрухи, которые, конечно, нельзя будет прекратить силою оружия.

Уже многое испорчено в корне и непоправимо, если бы даже к делу управления были привлечены гении. Но, тем не менее, смена лиц и не только лиц, а и всей системы управления, является совершенно настоятельной и неотложной мерой.

Хотя, как я указал, новые лица не смогут много исправить и многое наладить, но, тем не менее, вера населения в них даст уверенность, что все возможное в этом отношении делается, и эта вера будет стимулом к более терпеливому отношению к тем тягостям жизни, в значительной доле коих повинно правительство последних лет.

Переходя к предстоящим работам Государственной Думы, если они будут иметь место при прежних условиях, мы должны обратить внимание на ту программу работ, которую в этом отношении намечает правительство.

Все вопросы, связанные с войной, оно разрешает самостоятельно. Что же оно вносит в Думу? Оно

заваливает ее бессистемно законопроектами, имеющими отдаленное значение для мирного времени.

В предвидении возможности резкой критики своих действий, правительство, устами Председателя Совета Министров, обращается к Председателю Думы с заявлением о том, что мы должны употребить героические усилия, дабы сохранить спокойствие. Разве эти слова не свидетельствуют сами по себе, что условия нашей жизни не таковы, чтобы можно было соблюсти это спокойствие? Рекомендуя нам употребить героические усилия, в свою очередь, правительство не желает употребить даже малейших усилий для того, чтобы сделать нашу работу спокойной.

Государственная Дума высказывала уже не раз свое отношение к моменту и от этого отступить не может.

К сожалению, с тех пор не только ничто не изменилось к лучшему, а наоборот. Правительство все ширит пропасть между собой и народным представительством. Министры всячески устраняют возможность узнать Государю истинную правду. Разве не характерно в этом отношении поведение военного министра, который даже отказал доложить Вашему Величеству просьбу членов Особого Совещания? Разве возможна общая работа с министром Внутренних Дел, которого товарищ его по делегации уличает в преднамеренной лжи и который не находит нужным так или иначе оправдаться? Разве возможна совместная работа с этим министром, который в опьянении своей властью распространяет слухи о том, что им помимо Думы будут разрешены и еврейский, и аграрный вопросы, который, в то время когда

посредством рабочих депутатов в Военно-Промышленном Комитете удается сдерживать на фабриках и заводах, работающих на дело обороны, волнения, опубликовывает правительственное сообщение, в котором опорочивает всю их деятельность, весьма полезную, и указывает на то, что эта деятельность была направлена исключительно на создание революции. Он грозит нашу тревогу подавить пулеметами, он усиленно прибегает к арестам и высылкам, он, как никогда, стеснил печать. Если такого рода цензура будет применена и к стенографическим отчетам Государственной Думы, то это, несомненно, снова породит те же уродливые явления, которые имели место ранее. Будут появляться апокрифические речи членов Государственной Думы возмутительного содержания, что уже имело место, и раздаваться чьей-то невидимой рукой в население и в армию, подрывая авторитет законодательного учреждения, этого единственно сдерживающего в настоящий момент центра.

Государственной Думе грозят роспуском, но ведь она в настоящее время по своей умеренности и настроениям далеко отстала от страны. При таких условиях роспуск Думы не может успокоить страну, а если в это время, не дай Бог, нас постигнет, хотя бы частичная, военная неудача, то кто же тогда поднимет бодрость духа народа?

Кроме того страна должна быть уверена, что во время мирной конференции, правительство должно иметь опору в народном представительстве. Изменение состава народных представителей к этому времени, при полной неизвестности, какие результаты

может дать эта мера, представляется крайне опасным. Поэтому, необходимо немедля же разрешить вопрос о продлении полномочий нынешнего состава Государственной Думы вне зависимости от ее действий, ибо самое условие, которое ставится правительством о том, что полномочия могут быть продлены лишь в случае сохранения спокойствия Государственной Думы, является само по себе оскорбительным, так как оно доказывает, что правительство не только не нуждается, но даже не интересуется правдивым и искренним мнением страны. Такую меру продления полномочий на время войны признали естественной и необходимой наши союзники.

Колебания же принятия такой меры нашего правительства, равным образом как и отсрочка принятия этой меры, порождает убеждение, что именно в момент мирных переговоров правительство не желает быть связанным с народным представительством. Это, конечно, вселяет еще большую тревогу, ибо страна окончательно потеряла веру в нынешнее правительство.

При всех этих условиях, никакие героические усилия, о которых говорил Председатель Совета Министров, предпринимаемые Председателем Государственной Думы, не могут заставить Государственную Думу итти по указке правительства, и едва ли Председатель, принимая с своей стороны для этого какие либо меры, был бы прав и перед народным представительством, и перед страной. Государственная Дума потеряла бы доверие к себе страны и тогда, по всему вероятию, страна, изнемогая от тягот жизни, в виду создавшихся неурядиц в управлении,

сама могла бы стать на защиту своих законных прав. Этого допустить никак нельзя, это надо всячески предотвратить и это составляет нашу основную задачу.

Председатель Государственной Думы
Михаил Родзянко.

10 февраля 1917 г.



СОДЕРЖАНИЕ.

ПРИЛОЖЕНИЯ: СТРАН.

